



**Владимир Орлов**

**Шеврикука,  
или Любовь к привидению**

*ФТМ*



Останкинские истории

Владимир Орлов

**Шеврикука, или  
Любовь к привидению**

«ФТМ»

1993

**Орлов В. В.**

Шеврикука, или Любовь к привидению / В. В. Орлов — «ФТМ»,  
1993 — (Останкинские истории)

ISBN 978-5-4467-2594-6

«Шеврикука, или Любовь к привидению». Знаковое произведение в творчестве классика современной литературы Владимира Орлова. Роман, полный тайн и загадок. Блестящее сочетание мистики и социальной сатиры. История домовых и привидений – возможность по-новому взглянуть на современные реалии. Напомнить о значимости выбора в нашем непредсказуемом мире, где каждый шаг человека влияет на его дальнейшую судьбу.

ISBN 978-5-4467-2594-6

© Орлов В. В., 1993

© ФТМ, 1993

## Содержание

1	5
2	10
3	14
4	18
5	22
6	29
7	37
8	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# Владимир Орлов

## Шеврикука, или Любовь к привидению

### 1

В Останкине, как известно, живут коты, псы, птицы, тараканы, люди, демоны, ведьмы, ангелы, привидения, домовые и иные разномыслящие существа. Среди прочих и Шеврикука.

Домовым Шеврикука был приписан к зданию № 14 по 5-й Ново-Останкинской улице. Дом этот тянулся (и нынче тянется), не перегибаясь в спине, почти от улицы Цандера до Аргуновской. От созидателей он получил почтительный титул «Дом-корабль», в обществе же назывался «Землескребом». Если бы нашлись умельцы и поставили дом № 14 на попа, имелись бы основания считать его небоскребом. Но умельцы в ту пору добывали прокорм в Атлантик-Сити, Осаке, Абиджане, местные же труженики смогли лишь разложить новое останкинское жилище по земле, и Шеврикука получил в нем должность домового-двухстолбового. Название должности вывел, и, видно, натошак, какой-нибудь Почеши-Затылок или Раздолбай-Компьютер, задрипанный канцелярист с пятнами от фломастера на ушах, Шеврикуке скучно было его произносить. Хотя должность его и считалась на три степени выше пустячной. Но ее ли был достоин Шеврикука? Вот тебе раз, пеняли ему, и так вовсе не дом в три оконца из гнилых уже бревен, с летними капризами мух, с душевными томлениями угасающего сверчка, со злоющей старухой владелицей был уготован ему, а два столба в Землескребе, два подъезда о девяти покоех, этажах то бишь, с четырьмя квартирами при каждой двери лифта. Что врут, ворчал Шеврикука, откуда нынче три оконца? А в кураже он ерепенился, шуршал, шумел, он-де мог бы держать весь дом. «Ну вот, – замечали ему. – А куда же девать кадры?» Кроме Шеврикуки, поставлены были в Землескреб, по причине его протяженности, еще восемь домовых-двухстолбовых. Шесть из них, судя по ведомости, размусоленной все тем же невидимым канцеляристом, Почеши-Затылок, Дать-Ему-В-Рожу, Раздолбай-Компьютер, были и не кореными, московскими, а вывезенными из поселений, оказавшихся под водой. Вода, скорее всего, имела в виду историческая. «Своих, что ли, не хватает? Мало ли в Москве домов рушат! – возмущался Шеврикука. – Зачем же еще и из далей завозить?» «Подремите в холодильнике, – говорили ему. – Экий вы горячий». А дальних не только завозили, иные из них пристраивались сами, сами пробивались из мест опустевших, помятых, погоревших, потопленных или осознающих себя помятыми или потопленными. Москва им представлялась в их запечьях и закутках Вертоградом многоцветным, где и стоило осуществлять служебное рвение, растеплять потухшие было привычки и предания в надежде, что тут-то – и нигде более – накормят пряником и наградят серебряной ложкой. Шеврикука не был высокомерен, сам когда-то в пору затей государя Алексея Михайловича и просвещенного боярина Ордина-Нащокина приехал в первопрестольную в обозе из-под Можайска, в мешке с горохом, но уравнивать себя с новопробретениями столицы, на его взгляд, неумехами, однако наглецами, не имел сил. Оттого порой его числили в оппозиции и в засаде. Впрочем, причину тут выводили неверно, на домовых из соседних подъездов Шеврикука серчал нечасто и по делу, а так в отношении к ним был ровен и терпелив. Недовольства его и ворчания проистекали от иных досад.

Потянул бы он весь Землескреб. Почему бы и не потянуть? При нынешней-то нетребовательности москвича, напуганного смутой жизни, непременно потянул бы. Если бы захотел. Если бы его попросили. Но никто не просил. И не всякую просьбу Шеврикука согласился бы уважить. Если бы стали его улещивать останкинские чины и краснобаи, он бы их унизил отказом. А те, чье расположение могло оказаться и уместным, не просили. Хуже того, было известно: те-то – не все, но один из тех – в разговорах, возможно, и печать налагающих, назы-

вали Шеврикуку плутом, лодырем, вралем, пройдохой. Еще и пронырой. И еще – бузотером. Ну ладно бы просто называли. Мало ли чего не наговорят сгоряча болтуны, пусть и самые рукодержащие. А то ведь и расставляли для него шлагбаумы. Может, даже и капканы, коли не брезговали охотничьим промыслом. Впрочем, капканами Шеврикука мог себя наградить и в мечтаниях. Кто он был таков, чтобы ставить ему капканы? «А вот таков! Таков! – раззадоривал себя Шеврикука. – Что и капканы закажут!»

Должен заметить, что среди прочих комплиментов слова «плут» и «проныра» менее всего обижали Шеврикуку. Ну плут, ну проныра – и что здесь дурного? Это именно в пятистенке с котом на печи, со сверчком, с хозяином, его женой и чадами был хорош тишайший лежебока, лишь бы дом благоденствовал и не прыгали бы по столу миски с борщом. А нынче-то, когда обслуживать приходится и не людей, не жильцов на Земле, а квартироръемишников, персонажей дэзовских бухгалтерий, с излишеством набитых в братских подъездах, друг от друга отличаемих фотоликами на карточках покупателей, натурами скандальными, как нынче-то не крутиться плутом и пронырой? Много ли выйдет проку без плутовства и пронырства? То-то и оно. А он, Шеврикука, был способный... И слово «враль» его не особенно раздражало. Ну враль, а кто теперь не враль? Хотя деликатнее и справедливее было бы аттестовать его фантазером. Или даже мечтателем. С воображением. Но то, что его отнесли к лодырям и лоботрясам, было Шеврикуке досадно. Сами кто они будут, аховые работнички! Только что дадено им носить в парадные дни кружевные воротники, штаны с витым шнуром-сутажом, а если парадные дни зимние – валенки, подшитые тремя слоями красной галошной резины и утепленные внутри кроличьим мехом. И опять же ходят легенды об их парадных бязевых кальсонах, будто бы они на гусином пуху и украшены сердитыми желтыми цветами с жостовских подносов. Да, унижать квартальных домовых, обзывать их, топтать на них ногами в этаких валенках и кальсонах им дозволено статусом. Но дообзываются и дотопаются.

Ну, предположим, теперь он лодырь и лоботряс. Оттого что надоело. Обрыдло. Сам себе позволил быть лоботрясом. Что нынче усердствовать в Останкине? Главное – не разрешить себе воровать, до этого Шеврикука еще не добрел и вряд ли добредет. Но судить о его сути, лоботряс он или не лоботряс, мог лишь он сам, а не всякие жующие пастилу чины с плоеными кружевами у шей (от испанских грандов, что ли, или от лотарингских гуманистов? Кому-то ведь, начитанному, ударило в голову, и зазвенели коклюшки). При этом, конечно, Шеврикука соображал, что, если бы его попросили и призвали, он бы и брыжжи одобрил, и валенки, и парадные кальсоны, но не призывали негодяи, отцы-командиры, держали в Землескребе, числили лодырем и все же наверняка ставили ему капканы. А ведь даже теперь при всех числителях и знаменателях судьбы Шеврикуки его подъезды в Землескребе были самыми опрятными. Знать об этом кому следует полагалось.

Удивительно опрятными. И не из-за намеренных напряжений Шеврикуки. Просто сам он был опрятен, таким сложился в ходе воспитания чувств и привычек. Возникали недоумения с мылом, зубными пастами, мужскими одеколонами, дезодорантами, и Шеврикука страдал. Хорошо хоть рядом произрастал Ботанический сад с травами и кореньями. Правда, на варево лечебных и чистых снадобий требовалось время. Шеврикука клял отечественную парфюмерную промышленность, бывшую в пору энтузиазма Трестом Жиров. «Где теперь наши знаменитые духи «Красная Москва», они же до Учредительного собрания – французские, «Подарок императрице», где их флакон с красной бумажкой? Ни духов, ни флакона!» – гневно восклицал Шеврикука. И варил снадобья, не торопя жидкость. Зачастил и в баню. Благо новые либеральные установления предполагали полуденные отгулы за ночные труды. А Шеврикуке хватало и часа полтора сна в календарные сутки. Впрочем, и прежде, даже и при самых коварных порядках, он находил способы путешествий в парную. Хоть бы и прикинувшись березовым веником.

Опрятной была и одежда Шеврикуки, тем более что он добывал ее из воздуха. Когда-то Шеврикука (звали его иначе) и сухой горошиной мог проехать в мешке из можайского села

Колычево в стольный град. Были времена, и не столь отдаленные, когда домовым и некоторым иным существам было предписано рожу человеку не казать, фигуры не иметь, внешним видом никого не пугать и не очаровывать, а лишь невидимо производить звуки и перемещать предметы. «А русалки? – роптали домовые на сходах. – Им можно! У них всего в обилии. И там, и тут. И чешуя. А что они умеют, кроме как щекотать? А лешие, а водяные! У них в сырости и в туманах фигуры, пожалуйста, проступают...» «Русалки нас не касаются, – разъясняли смутьянам. – Это потопшие девы... А лешие и водяные и обязаны пугать смутными фигурами». Понятно, что выражения недовольства и отпора ему приводятся здесь чрезвычайно упрощенные и простодушные, а домовые были вовсе не амебы и не инфузории. Впрочем, что мы знаем толком и про амебы с инфузориями?..

Но жизнь-то человека катилась, кувыркалась, неслась, отправляя высокомерием заблуждений домовых вместе со всякими костяными ногами, мальчиками-с-пальчик, обижающими людоедов, в фольклорные издания, в сноски к заключениям ученых умов, в мельтешение цветных картинок на экранах ради потехи детишек, и Шеврикука все чаще и чаще позволял себе, глаз кося на крутые предписания, гулять по Москве в человеческом подобии. Да разве он один! И никого своим присутствием он не смущал. Этот когда-то лишний человек в деревне, в слободе, еще в сороковые годы даже и в Москве, во дворах нашего Напрудного переуллка и уж тем более в коммунальной квартире, вызывал любопытство и требовал разъяснений. Но сколько в столетии случалось столпотворений, перемещений народов, несуразниц с брожением умов и населения, погоняний кнутом и револьвером, каш людских, в коих удачникам полагалось ходить по головам, телам и душам. При них никаких разъяснений от лишних существ не требовалось. Словом, немало Шеврикука получил уроков прилежания и поведения. А теперь-то, когда Москва уже и не проходной, а пролетный двор, сосуд суеты, куда можно плюнуть, но плюют на тротуар; скопище людей, где сосед не знает соседа, где полно заезжих зевак, добытчиков с сумой на колесах, трибунов при микрофонах, командированных усовершенствователей народного блага, негодяев с автоматами, ножами и взрывными устройствами, виртуозов наперстка, летучего жулья, купцов с вареными штанами, бомжей, пришельцев, – чего теперь-то было опасаться в прогулках по городу домовому Шеврикуке? Паспорт если только или визитку предложат показать в магазине. Но для Шеврикуки вырастить сейчас же в кармане паспорт, талоны, карточки и еще что там введут было делом простейшим.

Помимо всего прочего, в уложениях произвели поправки, на взгляд авторитетного домового Артема Лукича исторические. Или судьбоносные. И раньше множество оговорок, конечно при угрозе непереносимых и полезных наказаний, позволяло домовым появляться «в телесном виде вблизи основного и первопричинного городского населения», под которым, естественно, подразумевались люди. Но появляться в случае крайней служебной необходимости, лишь «инкогнито», не открывая принадлежности к своему сословию и уж тем более – тайн сословия. (Слово «сословие», видно, льстило умам, его употребившим, или даже казалось им дерзким из-за объявленной в нем претензии, но никак не передавало сути той живой ветви мироздания, к которой относились и домовые.) В последние же сезоны, когда, по наблюдениям блюстителей правил, в мире, а у людей и в Москве в особенности, все разболталось (в Останкине – тем более), домовым «в телесном виде» было «дозволено свободное посещение людей». С отвагой дозволено. Или даже с вызовом. Этот вызов Шеврикука сначала почуял, а потом и определил на ощупь, а потом и вычислил. Эко на что замахнулись забияки или гордецы из их робкого и прикладного по предназначению сословия! Не вдели ли они при этом гвоздики в петлицы или серьги в уши, не запели ли хором: «Мы с птицами будем на равных!», не побросали ли в костры муаровые ленты с вечными на них словами «Все для человека!»? Нет, конечно, такого никто и позволить себе не мог, никто и жеста не произвел с покушением на основы, что уж говорить о кострах, лишь несколько строк в документе было вычеркнуто и

вписано тихонькое: «дозволено свободное посещение...» Но все же, но все же... Шеврикука чуял...

Немало нашлось и недовольных новым правовым допущением. Староверы всегда отыщутся. О прогулках Шеврикуки домоседы ворчали и раньше. Прохвост, он и есть прохвост, утешали себя, ему и зачтется. Сами же они продолжали невидимо кряхтеть и стонать в чуланах, в подполах либо на чердаках, а теперь на антресолях, в водопроводных трубах, полагая, что способствовать домашнему строительству они могут мыслями или же душевными посылами. Все иное – ложно. Телесный вид они принимать не собирались, лишь, получая повестки, выползали какими-то закорючками, кривыми засохшими колобками в присутственные места на выволочку или для поощрений. Впрочем, и с такими случались катавасии. Совершенно неожиданно никому не ведомый как личность, известный лишь по прозвищу Пост-Одоевский, домовый с улицы Кондратюка, из дряхлых ветеранов, вылез, наверное, из банки с чайным грибом, воплотился в бугая-отставника в выцветшем кителе со следами погонов и стал ходить на все демонстрации – и в Лужники, и на Манежную площадь, и к телецентру. Каждый раз он волочил с собой транспарант «Уравняем домовых в правах с таксистами и работниками метрополитена!». А потом завел и флаг с четырьмя полосами – фиолетовой, черной, оранжевой и серой. Был он в толпе уместен, никто его ни о чем не расспрашивал и не обижал. К тому же он так научился орать, что и желающих обидеть его не отыскивалось. Опять же никому не ведомый и не видимый домовый Попичкуев, из тех же колобков и закорючек, превратился вдруг в учтивого господина с «дипломатом», знающего четыре языка, слез со своего шестка и принялся играть на бирже. А домовый Непетухин, вылупившись из скорлупы и приобретя бороду, за пятерки писал на Арбате портреты проходящих мимо красавиц.

«Ох, бедовые! Ох, бедовые! – думал о них Шеврикука. – То дремали в оцепенении, а теперь ишь как раззадорились! А в подъездах дела запустят...» Впрочем, они запустили и без демонстраций, бирж и Арбатов, ему-то что. Да и стиль нынче в городе был такой, что его, Шеврикуки, опрятность могла показаться порочной или корыстной.

Сам Шеврикука транспарантов и знамен не носил, в уличной толпе был свой, ничем ее не раздражал и не давал поводов завидовать ему. Он производил впечатление мастерового лет тридцати двух – тридцати семи. Может, столяра хорошей руки, может, краснодеревщика, может, дамского портного, может, бутафора из Малого театра, может, лекальщика с самолетного завода. Видно было, что работы он исполняет достойно, а коллеги и заказчики его уважают. Бить такого не было причин. Да и задирать не возникало желания. Хотя по первому взгляду могло показаться, что он простак и обжеггорить его ничего не стоит. Уж больно он ходил румяным и добродушным. Но потом наблюдатель мог заметить, что не такой уж перед ним и простак, один-то, левый, глаз Шеврикуки (серый по цвету) был именно простодушно и удивленно открыт, но правый глаз (тоже серый) при этом щурился, пожалуй, иронично, и уголок рта под ним чуть кривился, вызывая мысли о скептическом умонастроении Шеврикуки. «Ан нет, – являлось в голову наблюдателю. – Вовсе не простак!» К красавцам Шеврикуку отнестись было никак нельзя, но кому-то открывалось в нем и нечто привлекательное. Шеврикука (ростом он был выше среднего), склонный к полноте, но пока не раздобревший, имел длинную шею любознательной личности, толстые уши, толстые губы и вполне заметный нос, при этом как бы гнутый, с одного бока он казался толстым, в половину картофелины, с другого же его будто обтесывали стамеской, позволив потом коже лишь обтянуть кость. Над затылками Шеврикуки и розовым лбом его торчал клок жестких русых волос, в пятидесятые годы, когда нравственные личности боролись с плесенью из коктейль-холлов, Шеврикука мог бы произвести его в стилижий кок. Но по нынешнему виду Шеврикуки выходило, что стилиг он наблюдал лишь грудным младенцем. Шеврикуке нравилось быть теперь именно тридцатипятилетним. Как-то в собрании домовых старик Иван Борисович запыхтел: «Что вы все головы морочите смутным временем! Смутное время, Смутное время! Переживали мы смутные времена, и не



раз! А ту смуту помню. И Тушино, и самозванцев! И Шеврикука небось помнит». – «Нет, не помню, – резко сказал Шеврикука, обидев старика. – Я позже завелся». А ведь помнил, хотя и не был в Тушине. Много чего помнил Шеврикука. Но не хотел вспоминать...

А одежду он заказывал без претензий, самую ходовую, какую носили тихие москвичи его возраста и среднего достатка. Возможно, в душе он был франтом, но щеголять на улицах себе запрещал. Были на то причины. И чрезвычайно опасался Шеврикука выглядеть смешным. Из тканей милей всего был ему бархат, особенно цветов Веронезе, однако времена бархата не наступили или вовсе истекли. Шеврикука не мог дать публике поводов для веселий, а потому вместо бархатов надевал свитера домашней вязки, джинсовые штаны и куртки, против них он и не возражал.

Таков был останкинский домовой Шеврикука в ветреные июньские дни. Многим, знавшим его, он казался тогда смирным, доброжелательным, несклонным бить стекла и зеркала, вот если только ворчуном. Но кто в те ветреные дни не ворчал, не бранил порядки и их исполнителей? А Шеврикука лишь казался смирным и послушным. Он жил присмирившим и притихшим. На всякий случай. Чтобы ничего не проморгать и быть в готовности. Предчувствие волновало его: вот-вот начнется то, о чем он уже давно выстраивал предположения. Тогда и понадобится Шеврикука истинный...

## 2

Воскресные созерцания Шеврикуки были разрушены.

Если помните, Шеврикука спал мало. Но вот созерцать нечто в себе и в природе, совершать, закрыв веки, путешествия, разглядывать книги с просветительскими, но живыми картинками либо же читать сочинения, чувствительные или глубокомысленные, он был расположен. Тем более что времени у него хватало. При жильцах, а тем более при хозяевах приходилось бдеть, чуть ли не приговаривая в воодушевлении: «Рады стараться!» При квартироръемщиках, да в двух подъездах, да на девяти этажах, ни о каких воодушевлениях речи не шло. Нет, порой Шеврикука и старался, но это когда он ощущал, что чья-то человеческая жизнь подлинно требует его опеки, тут уж он опять в силу воспитания становился незримым дядькой-опекуном при малых детях. А так он просто содержал подъезды в опрятности и ни в чьи житейские обстоятельства без нужды не вступал.

Поутру в воскресенье Шеврикука хотел откусать в чашках Лосиног Острова брусничного листа. Но передумал. Забрел в квартиру пенсионеров Уткиных, отбывших на дачу, и, съевшись там, улегся в кратере малахитовой вазы. В вазу ничего никогда не клали из почтения к камню и Даниле-мастеру, в ней сейчас было чисто, прохладно, и Шеврикука созерцал. И вдруг почувствовал, что в его владениях происходят безобразия. Или вот-вот произойдут. Так, услышал, что в соседнем, его, подъезде отключили воду. Что-то затевалось на четвертом этаже в квартире (№ 468) стервецов Радлугиных. Супруги Радлугины работали в сберегательной кассе, она – контролером, он чинил аппараты и любезничал с кассиршами. Радлугин, в пору, когда достоправный Егор двинулся в поход за очищение народных генов от влитого в них алкоголя, уловил возможность скорой карьеры и наградил себя изобретенным титулом – Старший по подъезду. Он принялся сражаться с бытовым пьянством, врвался в частную жизнь, корил неразумных, просвещал их насчет мирового заговора, рассылал филиппики по местам их работ, а предположив в квартирах винокурное производство, вызывал милиционеров с собаками, не переносящими самогон на дух. Шеврикука обиделся, в наглom и корыстном самозванстве углядел покушение на свои полномочия, приманив как-то Радлугина запахом яблочной косорыловки, дверью прищемил тому нос. Недели три волонтер великой войны с порчей генов ходил с бинтами на роже. И теперь у Шеврикуки не было к Радлугиным симпатии, и пусть бы у них все ломалось и дергалось. Но Шеврикука явно ощущал присутствие чужой силы. Или хотя бы чужого усилия. Никакие местные полтергейсты в подъездах Шеврикуки не развлекались, они знали его нрав и знали, что он может показать им барабашкину мать. Шеврикука вздохнул, потянулся и незримо перенесся в соседний подъезд.

Два сантехника волокли к Радлугиным розовый унитаз. Это в воскресный-то день. И сантехники были не дэзовские, чьи труды, конечно, требовали надзора Шеврикуки, но относились к числу положенных. Нет, волокли унитаз чужие. Один из них был кучерявый белесый малый в тельняшке с клипсой на ухе и сигаретой в зубах. Второй – крепыш лет сорока пяти, заметно, что бритый наголо, и, возможно, потому в кепке – казался личностью наглою и решительной. «Савинков какой-то», – пришло в голову Шеврикуке. А в малом с клипсой на повороте открылось и нечто знакомое. «Да это же Продольный! – поразился Шеврикука. – Завился подлец и тельняшку надел!» Продольный был домовый как раз из лимитчиков, подъезды его размещались в Землескребе в самом конце, у Аргуновской улицы.

– Эй, стойте! – закричал Шеврикука. – И вон отсюда!

– Это что? – спросил Продольного бритый крепыш. – Кто это шумит? Пресечь?

Шеврикука спохватился, возник из воздуха:

– Я вас сейчас так пресеку! Продольный, ты меня знаешь!

– Ты же не здесь, – растерялся Продольный. – Ты же сейчас в Лосином Острове...

– Я здесь. И в Лосином Острове, – сказал Шеврикука. – Это кто с тобой?  
– Это дядя, – заспешил Продольный. – Дядя это. Мой. Из Липецка. Да? Ведь дядя?  
– Дядя. Дядя, – хмуро подтвердил бритоголовый. – Успокойся.  
– Что это ты тельняшку-то надел? – не удержавшись, задал лишний и бестактный вопрос Шеврикука. – По какому праву? Ты из десантников, что ли, или из морской пехоты?  
– Это вас не касается, – грубо сказал названный дядя.  
– Меня здесь все касается! – грозно заверил его Шеврикука. – А сейчас я коснусь вас с унитазом!

С криком он ринулся к лжесантехникам, пятернями ухватил каждого из них за шиворот и потянул вниз, к распахнутому лестничному окну. Продольный был легок, сам норовил взлететь и упорхнуть, липецкий же дядя упирался, казался Шеврикуке стальным сейфом, набитым дорогими слитками, да еще и унитаз не желал выпустить из рук.

– Вон! – рычал Шеврикука.  
– Тельник-то не рви! – заверещал Продольный. – Чего пристал? Чего ты пристал к нам? Пожалеешь... Перепадет тебе! И привидению твоему... Твоей... Суке этой!..  
– Ах ты, недопаханный! – вовсе рассвирепел Шеврикука. – Тельник надел! Да ты не из морской пехоты, а из морской капусты! Из заячьей!

Оба предпринимателя были доставлены Шеврикукой к окну, воздвигнуты им на подоконник, а потом и выдворены с ревом в останкинские воздушы из чужих владений. Продольный нырнул вниз рыбкой, а названный дядя опрокинулся на бок, как бы нехотя позволил себе, прищурившись, взглянуть в глаза Шеврикуке и, причмокнув, что-то посулить ему сквозь зубы. И в злом прищуре его было обещание уплатить по счету.

– Вещь-то выростили здесь ненужную! – Шеврикука подхватил оставшийся трофеем унитаз и вышвырнул его в окно.

Унитаз низвергался куда быстрее Продольного с дядей, способных, как выяснилось, совершать затяжные спуски с фигурами, Продольный изловчился поймать унитаз на лету, прижал его к груди и уже на асфальте прокричал что-то обидное Шеврикуке, и они с дядей, смешавшись с людьми, поспешили к Аргуновской улице.

– Что? Что? Где? – выскочил на шум сознательный гражданин Радлугин. – Унитаз жду. А тут звуки. Что? Где?

– Водку дают в разлив в шестьдесят втором магазине, – сказал Шеврикука и рассеялся в воздухе, оставив Радлугина в недоумении.

Сейчас же Шеврикука возобновил свободный ток воды по трубам подъезда и произвел следствие. И вот что открылось. Позавчера дама Радлугина обнаружила, что засоленный позапрошлым летом в пятилитровой банке зеленый крыжовник прокис. На исторический случай – либо гражданской войны, либо всеобщего разгильдяйства, либо глумления рыночной экономики – Радлугиными много чего было закуплено, засушено, засолено, замариновано, завялено, заспиртовано и в инспекторские дни подлежало ревизии. Прокисший крыжовник дама Радлугина решила наказать плаванием в туалетной воде. Только она приступила к делу, как банка выскользнула из ее рук и расколола унитаз. В ДЭЗе, хотя там скандалиста Радлугина и боялись, обещали установить беспорочный унитаз лишь через неделю. И то, скорее всего, из списанных. И тут вчера Радлугиной во дворе случайно повстречались два сантехника. От усталости они валились с ног и чуть ли не уткнулись в Радлугину своими ключами и фибровыми чемоданами. Слово за слово, «Братцы, спасите!», и договорились, что завтра же утром Радлугиным будет установлен новый унитаз, и не какой-нибудь, а розовый с зелеными крапинами. «Из резервов...» Определили и цену – полсотни.

Уже одна эта история была криминалом и давала повод Шеврикуке писать докладную записку. Но Шеврикука, заново и со вниманием исследовав происшествие, нырнул в подполье очевидного и выяснил, что Продольный недели две готовил предприятие с розовым унитазом.

Где они с так называемым дядей его сперли, было уже неважно. Так вот. Продольный, без тельняшки и без клипсы, а в виде городского комара, ребенка асфальтовых мокрот, внедрился в квартиру чужого подъезда и попискивал над ухом Радлугиной. При его-то попискиваниях и прокис крыжовник, стал плесневеть, и Радлугиной внутренний голос подсказал утопить ягоду. А когда банка зависла над унитазом, Продольный укусил Радлугину в белую шею. Сделку же во дворе устроить было пустяком.

Шеврикука никак не мог успокоиться, и оттого течение мыслей в нем было рваное. «Неужели они из-за полсотни? – недоумевал он. – Из-за полсотни!» Домовые, в особенности в последние годы, подзарабатывали, порой и самым удивительным образом, на карманные расходы, на деликатесы, не предусмотренные распорядком жизни, на средства самообразования, да мало ли на что, хотя бы и на желтого попугая! Заработки эти не поощрялись, их бранили, называли безвкусицей, позорящей честь сословия, иных шабашников и наказывали, приравнивая их чуть ли не к валютчикам, но скорее из-за стараний не потерять лицо. Каким карманам мешает валюта? При этом либеральными умами приработки признавались делом вынужденным, вызванным столетними ущемлениями прав домовых... Но это все болтовня, фикус с ней! Да пусть бы и промышлял Продольный с липовым дядей, пусть бы и подсовывал дуракам ворованный унитаз, его дело, но как он посмел, нарушив неколебимое, объявиться со своей затеей на его, Шеврикуки, заповедной территории? Неужели всякие Продольные и уважать его перестали?

Продольные ладно. Продольные могли по глупости. Или из-за утраты существенных понятий. С Продольным он разберется. Но ведь Продольный был способен и уловить нечто в атмосфере. Почувствовать неуважение к Шеврикуке тех, на кого он, Продольный, и ровня ему взирали снизу, верхнюю губу приоткрыв. А потому и позволить себе дерзость: намекнуть на увлечения Шеврикуки и даже пригрозить не только ему самому, но и якобы любезному Шеврикуке привидению. За это и за оскорбление барышни, пусть и небезупречной, будут пересчитаны все белые и синие полосы тельняшки прохиндея!

Но явление бритоголового, перед которым Продольный явно лебезил, должно было озадачить Шеврикуку. Не специальный ли этот дядя? И не специальный ли унитаз был вставлен в сюжет происшествия? И не нарочно ли унитаз назначили именно Радлугину? Вспомнилось Шеврикуке обстоятельство шестилетней давности и прежде не разъясненной. Когда Радлугин сначала назначил себя Старшим по подъезду, а потом и уговорил четырех несмирных ветеранов, единственно явившихся на собрание представлять население, избрать его Старшим («Да что Старшим! Верховным по подъезду!»), он в сражениях под знаменами неутомимого Егора одержал немало побед. В частности, вынудил пожилого чиновника Фруктова с шестого этажа произвести от страха и унижений расчеты с жизнью. Фруктов был тихий добряк, чиновник – совершенный, от движений бровей начальства взмокал на службе в усердиях. Но в общество трезвости вступать отказался. Ревнитель Радлугин с десятком писем отправил куда надо, с приложением фотографий, на них – стаканы, рюмки, сосуды и рядом Фруктов в разных видах и разных степенях веселия или тоски. Коли б не кампания, Фруктова бы мирно пожурили. И коли бы пришла одна бумага, ее бы куда-нибудь засунули. Или разорвали. А тут их десяток, и автор – зверь. И был дан Фруктову разговор со швырянием фотографий на стол, после чего робкий чиновник наелся таблеток и не проснулся. В прощальном письме Фруктов укорял Радлугина, чего он, мол, так осерчал на него, и ставил под сомнение фотографии. Пил он один, перед ужином для поднятия аппетита, и не чертики же его снимали, до чертиков он не напиивался. Вопрос о чертиках не стали обсуждать, за Радлугиным стояла государственная правда. И вот теперь Шеврикуке пришло в голову: чертики чертиками, а не какой-нибудь невидимый Продольный обслуживал тогда Радлугина фотографом? И это в его, Шеврикуки, суверенном подъезде!

«Ее еще и сукой обозвал! – вновь вскипел Шеврикука. – А кто же я, интересно, в его мнении? И откуда он узнал про привидения, кудряш этот с клипсой? Или намеренно поставили его в известность? Затевают что-нибудь? А ведь могут, могут затевать!» Шеврикука был сердит, раздосадован, чрезвычайные, гневные речи произносил, чуть ли не с угрозами, понятно, не вслух. Но следовало ругать и себя. Он-то хорош! Он ведь сам допустил беспорядок, впал в благодушие, глаза и уши заклеил, на что же он рассчитывает в грядущих событиях, если так распустил и разнежил себя?

Утро было испорчено, и день прошел в суете. «Беспорядок! Беспорядок!» – твердил себе Шеврикука, исследуя все подробности обоих подъездов, полы на лестницах и стены готов был мыть, сдувать пылинки, хотя и находил помещения чистыми, не знал пощады в отношениях с комарьем и мухами, крушил забредших из чужих пределов клопов, тараканов, мокриц, мучных жуков, не давая им надежд на помилование или амнистию, и даже стянул, заклеил трещины радлугинского унитаза, увы, Радлугины были съемщиками в его подъезде. Хотя им и стоило подвесить ванну к потолку.

Суетой своей, пусть и мелкой, Шеврикука приводил себя в служебное состояние, необходимое для нынешних деловых посиделок. В восемь вечера Шеврикука был намерен явиться на толковище домовых в музыкальную школу. Посиделки могли оказаться нынче нервными.

### 3

Уже не нахал Продольный с дядей волновали Шеврикуку. Разбор истории с ними (хотя докладную, следуя правилам дисциплинарного канона, Шеврикука и написал) был отложен. Нет, он думал об ином. Храбрился, охлаждал себя, но уже не мог сидеть на месте и в семь вышел из дома. Быстро зашагал по улице Кондратюка, будто ему было необходимо ехать куда-то метрополитеном. На исходе Кондратюка он столкнулся с домовым Петром Арсеньевичем.

Хотел было проскочить дальше, ан нет.

– Здравствуйте, любезный Шеврикука, – раскланялся Петр Арсеньевич.

– Добрый день, – вынужден был остановиться Шеврикука.

– Разве вы не туда? – удивился Петр Арсеньевич.

– Я?.. Отчего же, и туда... Но ведь рано. А потом и туда. То есть... Я...

– Так пойдемте вместе, – предложил Петр Арсеньевич. – Не спеша.

– Ну да, ну да, – буркнул Шеврикука.

Петр Арсеньевич, домовый из углового строения на Кондратюка, был церемонным мухомором, отвязаться от него Шеврикука вряд ли бы смог. Люди дали бы Петру Арсеньевичу лет семьдесят с накатом, на улицы при публике он выползал с тростью, инкрустированной перламутром, летом носил чесучовые брюки и чесучовую же куртку, был почти лыс, имел седые усы и бородку клинышком, делавшую его отчасти похожим на умильного дедушку, пребывавшего некогда всесоюзным старостой. Впрочем, Петр Арсеньевич относился к тому дедушке дурно. В Останкине Петр Арсеньевич считался домовым несущественным, когда случались посиделки, ему полагалось присутствовать лишь в прихожей. Что уж говорить про Совещания?

– Отчего это посиделки, – принялся размышлять Петр Арсеньевич, – стали устраивать в выходные дни?

– Телевизоров насмотрелись, – сказал Шеврикука.

– Ах, да, да, – закивал Петр Арсеньевич. – Видимо, так. А вот... – тут же он замолчал, отважиться долго не мог и все же произнес: – А что вы, любезный, слышали про сокращения?

– Какие сокращения? – спросил Шеврикука.

– Ну, не сокращения... Ну, может, перетасовки... Или как по-нашему?... Повсюду ведь перетасовывают... Опять же по телевизору...

– Не знаю. Не слышал, – сказал Шеврикука.

Он знал. Он слышал. Но не захотел огорчать старика.

– Ну да, – вздохнул Петр Арсеньевич. – Это вас не коснется. Вы фигура заметная. И живая. Не то что мы, древние развалины.

– Не скромничайте, Петр Арсеньевич, – сказал на всякий случай Шеврикука. – И не нагоняйте на себя страхи... заранее...

– А вот... Поговаривают... – сказал Петр Арсеньевич. – Эти... отродья... – и тростью было указано на Останкинскую башню, – в поход будто на нас хотят пойти... Войну, говорят, желают начать... Тогда, может, будет не до сокращений, не до перетасовок этих?... А?

– Да неужели вы, Петр Арсеньевич, – поморщился Шеврикука, – не успели привыкнуть к войнам или к перетасовкам?

– Ах, да, да! – мелко рассмеялся вдруг Петр Арсеньевич, будто Шеврикука изволил отменить поводы его волнений. – Вы правы, вы правы... Однако, согласитесь, случай здесь особенный. Чаще мы оказывались при чьих-то чужих войнах, а тут намерены пойти походом именно на нас. Готовы ли мы к этакому повороту дел?

– Зачем мы нужны-то им? – спросил Шеврикука. – На кой им этот поход?

– Кабы я знал... Но ведь поговаривают... И чувствуется напряжение энергий, – сказал Петр Арсеньевич. – Может, раздражаем мы их... Может, они от гордыни... Молоденькие, све-

жие, теплые, пар от них идет, и вот все ломать хочется... Мол, мы одни правы и одни могучи, а все остальные закоснели и идиоты... И положение их требует драки.

– Какое такое положение?

– А такое, – охотно принялся разяснять Петр Арсеньевич. – Они-то ведь завелись не спросясь. Мы, положим, завелись тоже не спросясь. Дух хлеба, дух очага, дух, простите, шей, или что там варилось до шей. Но ведь когда это было? И уже когда мы признаны, установлены, вошли во все ведомости и протоколы, живем именно узаконенными, никому не мешаем и соблюдаем приличия. А они?

– Что они?

– Вот то-то! Что они! Они-то сами толком не ведают, кто они такие и зачем. Их распирает, дрожжи гонят их вширь и ввысь, они не знают пока, в чем останутся и какие формы им суждено принять. И при этом они незаконнорожденные. Каково им успокоиться-то? И каково усмирить свое высокомерие? – Тут Петр Арсеньевич замолчал, возможно, ему показалось, что он излишне горячится и шумит, а вокруг – любознательные. – Но это я все так, с чужих слов. Я-то никого из них и не видел. Вы хоть что знаете о них? Видели кого? Или, может, даже знакомы с кем?

– Ничего не знаю. Я ими не интересуюсь, – соврал Шеврикука. – И тем более ни с кем не знаком.

– Ну конечно, ну правильно, – закивал Петр Арсеньевич. – Но постойте, куда же вы несетесь, я не успею за вами, ноги у меня дряхлые, не ваши ведь... Да... И Чаши Грааля на Башне нет...

– Чаши Грааля? – Шеврикука остановился, перед тем в воздух чуть не взлетев.

– Чем я вас так напугал? – остановился и Петр Арсеньевич.

– Нет. Я так... оступился... Но какая тут еще Чаша Грааля?

– Чаша Грааля. Меч-Кладенец. Кольца Альманзора. Сокровища Полуботка. Что там еще? – сказал Петр Арсеньевич. – Простите, что я так высокопарно говорю. Но у них этого нет.

– А у нас есть?

– Любезный Шеврикука, – с укором улыбнулся Петр Арсеньевич. – А вы будто не знаете.

– Нет, я, конечно, слышал... легенды, песни, шуршание всякое... – смутился Шеврикука, он никак не мог прекратить валять дурака, от всех ожидал нынче подвоха, отношения с Петром Арсеньевичем были у него, как у пса с кустом барбариса, знал, что осыпается такой на углу улицы Кондратюка, и все, что он теперь-то пристал к нему, или – одинок и не с кем поговорить? А кто не одинок? Но вдруг Петр Арсеньевич и впрямь рыл ему яму или испытывал его... Шеврикука сказал: – А я это шуршание в голове не держу. Какой толк? Может, когда-то что-то и было у нас, но сейчас оно наверняка либо истлело, либо затупилось, либо обратилось в глину. Присутствие его полагалось бы чувствовать, а не чувствуется. Извольте. Прокладки в моих подъездах стираются чуть ли не каждый день.

И сам остался недоволен сказанным.

– Я вас понял... Извините, пожалуйста, что навязывался в собеседники, – Петр Арсеньевич потух, тростью тыкал в асфальт, будто ослеп. – Единственно скажу напоследок. Полагаю все же: оно, то, что было, и теперь не шуршание и не привидение. Напротив... Надеюсь на это.

Шеврикука резко взглянул на Петра Арсеньевича.

– Опять же извините, – грустно сказал Петр Арсеньевич. – Я говорил про свое, несколько не имеющее к вам отношения.

Дальше они шли молча.

Детская музыкальная школа стояла прямо возле Землескреба. Прогулку Шеврикука совершил, но успокоиться ему не было дано. Метрах в ста от школы Шеврикука с Петром Арсеньевичем растворились в воздухе и возобновились личностями на втором этаже учебного заведения. Прежде, когда Останкино лишь переходило из полудачного состояния в городское,

местные домовые собирались на Аргуновской улице в деревянном доме с башенкой. На первом этаже там были почта и сберегательная касса, на втором – жилищно-эксплуатационная контора. Ночью в помещениях конторы и сходились. А где же, полагали, еще? Но тот дом с башенкой снесли, а ЖЭКи, бывшие домоуправления, усовершенствовали, наградив их притом собачьими кличками – ДЭЗы и РЭУ. Ночью при ДЭЗах и РЭУ собираться отказались, иные робко, иные революционно, – неужели они проходят по ведомству эксплуатации жилья? (Раньше-то проходили и на каждое «цыц!» лапками дрыгать переставали.) Переругавшись, утихомирились с соблюдением достоинств и гражданских позиций и согласились собираться в детских музыкальных классах. Уж как бы при культуре. Тут, кроме классов, имелись и вестибюли, и учительские, и туалеты, и подоконники, и даже малый концертный зал. И потихоньку привыкли к тому, что именно здесь проходили теперь и ночные общения, и заседания клуба, и творческие отчеты домовых, и судилища, и деловые посиделки, и даже кутежи. Ревнителю нравов поначалу протестовали: «Дети и кутежи – несовместимо!» – вынуждая желающих предаваться весельям в диетической столовой при ресторане «Звездный». Но в «Звездный» и по ночам забредали подгулявшие мужики и бабы, грубили домовым, и те решили, что покой и безопасность они обретут лишь в музыкальной школе. Но когда объявлялись деловые посиделки, все иные встречи по интересам с ними совмещаться не могли. Хотя посиделки и были простым толковищем, стенограммы на них не велись и резолюции не принимались.

В прихожей перед учительской домовых сидело уже много. И Петр Арсеньевич тихо опустился на скамейку подальше от важной нынче двери. Знал свое место. До толковища оставалось семь минут, и Шеврикука подошел к окну, будто нечто чрезвычайное должен был рассмотреть сейчас на проезжей части. Сам же оглядывал запасных. Или резервистов. Сидели они скромные, почти безгласные, но с пониманием предназначенного им на лицах. Хотя из резервистов их никуда и не переводили, им доверялось лишь соблюдение традиций и церемониала. «Ба! – Рот открыл Шеврикука. – Да здесь же Продольный!» Как ни мала была роль сидельца в прихожей, но Продольный и до нее не дорос. Присутствие его при толковище было безобразием, и Шеврикука двинулся было к Продольному с намерением указать нагледцу, что он оскорбительно лишний, но тут возник привратник и глашатай (им был нынче домовый с Аргуновской улицы Дурнев, он же Колюня-Убогий) и объявил: «Действительных членов просим в зал». Шеврикука как бы нехотя повернул к двери, но Колюня-Убогий его придержал и сказал: «Вас не велено. В списке нет. Вас не велено...» «Чего? Меня нет?» – Шеврикука не взревел, не зарычал, а произнес это шепотом, но зловещим, какой полагалось бы услышать и в дальних выселках – в Солнцево и в Бутово. Колюня-Убогий его зил, видно было, что страшился Шеврикуку, и слова, испуганные, смущенные, выползли из него: «Не велено... В списке нету... А я что? Кто я?... Я не сам... Я сегодня здесь по расписанию...» «Да ты что! Я действительный член! А ну позволь!» – оттолкнул привратника Шеврикука и шагнул в зал, но движением руки распорядителя, домового Тродескантова, был остановлен. Услышал поразительное: «Вам сегодня определено место в прихожей». И сразу же понял, что остановлен не жестом Тродескантова, а колющим, властным взглядом неизвестного доселе на посиделках персонажа. Персонаж этот был бойцовского вида тяжеловес в темно-синей шелковой поддевке с косым воротником, подпоясанной крутым, витым шнуром, бритый наголо, утром представленный Шеврикуке липецким дядей подлеца Продольного. «Шея-то какая! И затылок, – пришло в голову Шеврикуке. – Это уж и не Савинков, а считай Котовский!» И стало ясно, что утром тот прикидывался дядей, может, дурачась, но, может, и унижая себя, а кепчонку надевал маскарадную. «Я протестую! – теперь уже заревел Шеврикука. – Я действительный член!» Тродескантов в сомнении отправился было к домовым, стоявшим возле гостя (или как его называть?), но губы того скривились, и Тродескантов послушно заявил Шеврикуке: «Место вам сегодня определено в прихожей!»

Ошеломленный Шеврикука опустился на презренную скамейку сидельцев в прихожей. Ему тут же бы покинуть паскудное собрание, но уйти отсюда до исхода посиделок он не имел



права. Да что не имел! И ушел бы! Однако – и сам стыдился признаться себе в этом – он еще надеялся, что сейчас дверь распахнется, перед ним сотворят поклон и призовут на совет. Дверь и впрямь отворилась, распорядитель Тродескантов что-то шепнул привратнику-глашатаю, и Колюня-Убогий, будто сам себе не веря, объявил: «Полного сбора нет. В зал приглашается Петр Арсеньевич, улица Кондратюка, дом номер два». Петр Арсеньевич поднялся, но, похоже, тут же должен был рухнуть в обморок, его подхватили под руки соседи и почтительно повлекли к недоступной им двери. Так уж и недоступной? Вот тишайший Петр Арсеньевич летá кротко сидел в прихожей, ни на что не претендуя, уж тем будучи доволен, что зовут из года в год, и нате вам! – чудесный поворот в судьбе.

Но каково было Шеврикуке! Эко его провели мордой по булыжной мостовой! Экое позорище ему учинили! Сколько сидело вокруг свидетелей его срама, замолкнув в испуге и удивлении! Поглядывали они на него, кто с любопытством, кто с состраданием, а больше-то небось ехидничая и торжествуя. И в зале при лучинах (пусть и в светлый вечер, но непременно, как дань преданию) наверняка думали теперь о нем, Шеврикуке. Думать думали, но говорили об ином.

То ледяная дрожь была Шеврикуку, то лава кипела в нем, требуя выплеска. Подходил привратник и глашатай Дурнев с колокольцем в руке. Колюня-Убогий, тварь жалкая, останкинское посмешище, юродивый, шут дрожащий, готовый перед любым, кто покрепче, лебезить и с бубном мелко попрыгивать, слюну изо рта пуская! Он и теперь, на всякий случай впереди, побитого хотел задобрить, бормотал виновато, склонившись над Шеврикукой, себе в оправдание: «Я ведь что... Я-то самый поганенький. Но ведь расписание. Вот по расписанию нынче я с колокольцем. А ты гневаешься на меня. И в обиде. И на наших. Они-то, может, и пустили бы тебя. Хотя иные и опасаются озорства... Но пустили бы... А этот строг. Который с полномочиями-то... Любохват... Оттуда (и пальцем – указ на юг, на Китай-город)... Строг он и громок... А я что?» «Сгинь!» – цыкнул на привратника Шеврикука. Досидел до прощального звона колокольца и в мгновение, позволявшее уйти с посиделок, ушел, ни на кого не взглянув.

Ринулся куда-то в синих, сухих сумерках, а куда – и сам не знал. Но не домой. «Все! – говорил он себе. – Час пробил!»

– Шеврикука! – окликнули его уже на Цандера.

Шеврикука обернулся. Сзади шагал церемонный мухомор Петр Арсеньевич. «Как настигла меня эта развалина? – удивился Шеврикука. – И тоже, что ли, примется сейчас оправдываться? Увольте!»

– Жизнь есть жизнь, – сказал Петр Арсеньевич. – Истолковывать что-либо нет нужды... Но коли вдруг возникают соображения о пробитом часе или о том, что Рубикон можно и не переплыть, а перешагнуть, не всегда следует спешить. Или быть сгоряча опрометчивым...

– Я не могу с вами вести разговор на равных, – бросил Шеврикука.

– А я, может, и не вам говорю, а себе... И себе же замечу, что дела у нас с Отродьем этим, с духами Башни, выйдут серьезные. Увы, слишком серьезные. И в скором времени... Да... А вслух я бормочу опять же по старости, оттого что все во мне спотыкается и тяготится существованием... Пребывайте в здравии...

Петр Арсеньевич поскрипел к себе на Кондратюка.

## 4

«Ну нет! Все! – повторял Шеврикука уже дома. – Час пробил! Они еще спохватятся, они еще приползут с горячими словами... Но все! Час пробил! Рубикон...» Какой еще Рубикон, сейчас же возмутился Шеврикука, этот мухомор и свежий выдвиженец Петр Арсеньевич одарил его Рубиконом, и истребить память о нем не было у Шеврикуки хлорофоса. Или нафталина. «Рубикон! Чаша Грааля!» – не при лицейских ли кафельных печах обитал в свои золоченные дни Петр Арсеньевич, и ныне обласканный? Летел, что ли, он за ним, Шеврикукой, вчера, чтобы бормотать вслух? Хоть бы и летел, пусть его намеки и подсказки и останутся при нем, а он, Шеврикука, будет жить и сгоряча, и опрометчиво. И не испугает его надзирающий взгляд уполномоченного в шелковой поддевке, бывшего липецкого дяди, бывшего сантехника, умыкнувшего унитаза, напротив, лишь подтолкнет его к крайностям и полетам. Но найдет ли управу Шеврикуке этот так называемый Любохват? Шеврикука относил себя к сведущим, умел слушать и расспрашивать и что-то не помнил никакого Любохвата. Нигде такой прежде не проходил. Возможно, был вызван или поднят из сургучовых недр и прозвище, сладкое, как тульская коврига, получил во временное пользование. Его дело. Шеврикуке все одно – дядя он или уполномоченный Любохват!

Так храбрился, хорохорился в обиде и гордыне Шеврикука, задирая себя и своих недругов, находящихся, впрочем, в отдалении. Сам же, утвердив себя в малахитовой вазе, принимал в расчет неловкость своего положения. Пробил уже не час, а по крайней мере двадцать один час с той секунды, когда решение было им бесповоротно принято. Но сразу, посчитал Шеврикука, нестись и вздыматься на Башню было бы некрасиво. Понятия «красиво» и «некрасиво» были чрезвычайно важны для Шеврикуки и сберегались в его алмазном фонде. К тому же нестись сразу было не только некрасиво. Возникли бы и подозрения... Но это все были отговорки. Шеврикука ощутил, что соваться на Башню робеет. Не то чтобы робеет (хотя и робеет), но находится в смущении оттого, что не знает, как и с чем на Башню являться в его нынешнем случае. Сто раз полагал, что рано или поздно ворвется туда, но разрабатывать практический план действий брезговал в уверенности, что все и так выйдет прекрасно и само собой. То есть получалось, что в нем жило лишь одно упование или даже греза, а холодной готовности не было никакой. Что же, теперь ему впорхнуть туда и обрадовать неизвестно кого: «Здравствуйте, это я, Шеврикука!»

Впрочем, один вариант явления Шеврикука в голове держал. Но сегодня он никак не подходил. И опытом удалцов последних лет, иных из них Шеврикука знал, воспользоваться он не мог. А уже утекали на Башню домовые. И пропадали там. Не возникало от них ни слуху ни духу. Ни строчки, даже и зашифрованной. Их называли предателями, перебежчиками, расстригами. Исчезли осенью два идеально послушных домовых. Чтобы в головах, подверженных соблазнам, не вспалились смута и ложные порывы, было разъяснено, что этих двух идеальных Отродья с Башни, растоптавшие всякие понятия о чести, выкрали для проведения страшных опытов. А потому предлагалось бдеть и блюсти себя. Обещали также усилить средства защиты и покрасить пограничные столбы. Каким образом утекали на Башню останкинские расстриги (хотя кто и когда подвергался здесь пострижению?), Шеврикука имел представление, но пробираться их тропинками не желал.

«А! Будь что будет! – решил Шеврикука. – Что сидеть-то здесь и робеть! И воробыного птенца не высидишь!» Крепкой оставалась в нем досада, да и температура поднялась отчаянная, сбить какую можно было лишь либо действием, либо снадобьем, но от него пришлось бы впасть в спячку сроком на семь месяцев. Уже уносясь к Башне, Шеврикука нашел в себе трезвые мысли и, как требовалось, отослал воздушной почтой докладную записку о противо-

правных действиях домового Продольного и его соучастника, назвавшегося дядей. Приметы прилагались.

Разгон Шеврикуки был таков, что он, невидимый, чуть ли не ударился в одну из бетонных ног Башни, придуманных инженером Никитиным. Протекала темно-синяя июньская ночь, а на Башне копошились труженики, двери двигались, и Шеврикука, не впадая в раздумья, способные отвлечь, влетел в одну из продувных щелей. А дальше что? Тут тебе не музыкальная школа, в часы отдохновений пустая, тут – телевидение, да еще и кабак в небесах с интересом к иностранцам, отсюда люди не уходят, они мешают здесь и в собачьи, и в волчьи, и в петушьи часы, где же следует искать истинных хозяев Башни? Или – где ему необходимо оказаться, чтобы истинные хозяева эти его, Шеврикуку, учуяли, обнаружили и приняли во внимание?

Что и как внутри Башни, было Шеврикукой изучено зимой и весной. Да и во многих коридорах, буфетах, аппаратных, студиях, залах и даже туалетах Шеврикука побывал тогда исследователем, набросал и чертежи для лучшего воздействия на память (и сразу их сжег). Надеялся он и на свой нюх, на подсказки своей натуры, много чего испытывавшей. Он предполагал, где могли бы оказаться гнезда отродий (сейчас он и в мыслях не называл хозяев Башни Отродьями – вдруг мысли его читают), в тех местах и курсировал. Потом подумал: а что, если его, невидимого, никто или ничто не почувствует, не засечет, ни на одном экране его силуэт не засветится? Моментально принял вид жителя останкинских улиц и проездов, стал передвигаться по коридорам деловито, будто отбывал ночную смену. Выглядел он необходимым работником, в одном месте ему доверили отнести бухту кабеля («Кому?» – спросил Шеврикука. – «Как – кому? – удивились. – Или не помнишь? Пашке, едрена вошь!»), в другом – отругали за неповоротливость, вручили электрический полотер и велели пройти с ним коридор от огнетушителя до мужского туалета. Всюду спрашивали, нет ли сигарет, и это при требованиях «Не курить!». Натирал паркет Шеврикука со старанием, увлекся, но никто к нему не являлся ни от людей, ни от духов. Но только он прислонил полотер к стене, как его взяли под белые руки и повлекли ввысь.

Кто его волок, возносил в черной пустоте рядом с трубой для поднебесных лифтов, Шеврикука понять не мог. Похоже, существ легких, возможно, пушистых была стая, они суетились, толкались, верещали, шелестели, перекрикивались целлулоидными кукольными голосами из детских радиопередач, будто ускоренным движением пленки, и обидно для Шеврикуки щипались. «Что вы щиплетесь-то! – не выдержал Шеврикука. – Сдурели, что ли!» Он локтями повел, норовя кого-нибудь из воспарителей в назидание садануть, но те заверещали громче, засмеялись, явно радуясь неприятностям Шеврикуки. «Ах! Ах! Ах! А он недотрога! Недотрога! А он, оказывается, цветок жасмин! Ах, давайте, давайте его совсем не будем касаться! Ах, давайте его выпустим!» – «Выпустим! Выпустим! Выпустим!» Сразу же началось свободное падение Шеврикуки, приостановить его он не мог, закричал в испуге: «Эй, вы! Хватайте меня. Вам же велели меня доставить!» Шеврикука был согласен теперь и на щипки, и на щекотания. «Разрешил! Разрешил! Бесценный-то наш, ненаглядный-то наш! Барин наш ласковый! Разрешил! Хватайте его! Хватайте! Несите!»

И Шеврикука со свистом и смехом был изловлен, раскручен и сброшен в дикое помещение, ударился о стену, впрочем, не больно. Зажегся фонарь в чьей-то руке или лапе, луч его бил в глаза Шеврикуке. «Садитесь! – услышал Шеврикука. – Выкладывайте сразу, зачем пришли». «Я, что ли? – спросил Шеврикука, устраиваясь на полу, на мятном матрасе, возможно, на татами. – А ни за чем. Просто так пришел. Прогуляться. Познакомиться». – «Ну и представляйтесь. Как вас именуют?» – «А никак, – сказал Шеврикука. – Пока никак. Да и не вижу я никого, кому бы следовало представляться. Не этой же шушере шелестящей». «Как он прав! Ведь как он прав!» – тотчас восторженно заторопились целлулоидные кукольные голоса, легкие, шелестящие спутники Шеврикуки стали подпрыгивать невдалеке. «Как справедливо подумало о нас ихнее сиятельство! Благоухающий наш! Нежнейший! Что же сидите-то вы так неловко?

Эдак и нога затечет! И брюки примять можно! Надо поправить! Надо удостоить нежнейшего!» К Шеврикуке подлетели, схватили его и не руками, не лапами, а клешнями, крутанули, и не раз, потом, держа за ноги, шмякнули носом о стену. Стоять на голове прислоненным к стене и оставили Шеврикуку.

«Да отпустите его! – прозвучал недовольно, скрипуче голос взрослого. – Усадите. Не надоело ли вам дурачиться!» Шеврикуку усадили, «ах, конечно, конечно, мы же обидели ребенка», угостив его при этом жестким апперкотом. Фонарь погас, справа и слева включилась желтоватая подсветка, и метрах в пяти перед собой Шеврикука увидел небольшое (с чемодан ростом) существо, возможно, механического происхождения. Трехчастное. Верхняя и нижняя части его были в ширину равны, средняя – чуть уже. Сразу же Шеврикука предположил, что верхняя часть собеседника – это его голова, средняя – туловище, нижняя, понятно, – ноги. Ног собеседник имел три. Или это были три планки. Нет, решил Шеврикука, планки – плоские, а тут – объемы, словно бы ребра старого водяного радиатора. Или палки нунчаки. Уже ведя разговор, Шеврикука подумал, что три симметричные «ногам» подробности головы – возможно, два уха и нос. В отличие от ног уши и нос двигались, правда, строго по горизонтали, то раздвигая, то сжимая голову-гармонь и отражая, вероятно, вибрации чувств собеседника. «Интересно, а какие у него могут быть дети? – задумался вдруг Шеврикука. И сам себе удивился: – При чем тут дети?»

– Значит, – сказал гармонь-радиатор, – зовут вас никак. И кто вы – неизвестно.

– Известно! Известно! – из-под потолка, из черно-желтой мороки опять заторопились кукольные голоса. – Зовут его Шеврикука. Он домовый двухстолбовый, то есть о двух подъездах, здания № 14 по 5-й Ново-Останкинской улице, в простонародье Землескреб.

Шеврикука кивнул. Он не опечалился: если располагали сведениями, то, стало быть, это именно те, на кого и следовало выходить. Или, вернее, не сами те, а хотя бы щупальца тех.

– Да, располагаем. И выясняется, что вы нам неинтересны. А потому вас надо вернуть к полотеру. Если, конечно, в причинах вашего явления сюда нет чего-либо примечательного.

– Чего-либо нет, – хмуро сказал Шеврикука. – Но теперь я чувствую себя неучтивым. Вы знаете, кто я, я же не ведаю, как называть вас.

– О! Это ли теперь должно вас заботить? – Планки растянулись, собеседник то ли удивился, то ли рассмеялся. – Называйте хоть Риббентропом. Так зачем вы пришли? И с чем?

– Ни за чем. И ни с чем, – решительно сказал Шеврикука.

– Если вы полагаете, что вам предоставят более значительного собеседника, то вы ошибаетесь. Других собеседников у вас не будет. Вы стоите на своем?

– Стою, – сказал Шеврикука, впрочем, после некоего молчания.

– Да он же секретный агент! Он же замочную скважину ищет! И игольное ушко! – ожили сразу над Шеврикукой кукольные голоса, заверещали, завибрировали, расталкивали друг друга. – Секретный агент! А мы-то глаза занавесили! Ату его! Ату! На шампур его и в реактор! В печь термостойкую! Агента задрипанного!

– Цыц! А вы (уже Шеврикуке), означенный двухстолбовый, не правы. Пожалуй, я зря пообещал отправить вас к полотеру. Вы вспомните: кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино? Никто. Желаете себя сохранить – произнесите существенные слова. Хотя бы два слова. Времени у нас нет. У вас – тем более.

Как на японском мелком календаре, при смещении его, возникает новая картинка, так при резком движении собеседника Шеврикуке открылась вместо горизонталей гармони-радиатора (или сквозь них?) фигура, явно схожая с человеческой, и синие глаза блеснули, однако тут же видение исчезло. «Что он хочет от меня? – думал Шеврикука. – Какие два слова ему произнести? «Чаша Грааля», что ли?»

Собеседник вздрогнул:

– Да, да! Хотя бы два слова!

– Нет у меня никаких слов, – сказал Шеврикука.

– Что же вы нам голову морочите! – воскликнул собеседник. – Что от дел отвлекаете! В порошок его, в сыпучий! Под зад коленом! В реактор, в режим распада! Под зад коленом! Триста плетей по обезвоженным местам!

Дальнейшее Шеврикука помнил плохо. Его опять подхватили, теперь уже с гиканьем и посвистом, крутили, трясли, пинали, то в пропасти швыряли, то винтом возносили в поднебесье, и все в Шеврикуке замирало, засовывали в недра жестяной бочки и били по ней кувалдами, потом втиснули в ржавую водопроводную трубу и сжатым воздухом погнали на восток. Здесь сознание Шеврикуки погасло.

## 5

Очнулся Шеврикука на берегу Останкинского пруда.

На черной воде в платной прогулочной лодке сидел водяной Марафетьев с удочкой в руке. «Часа два ночи», – сообразил Шеврикука. Ночь стояла тихая, теплая, и люди на Поле Дураков и по тротуарам улицы академика Королева, пусть и редкие, шлялись. Водяной Марафетьев сидел в полосатых плавках спасателя, фетровой ковбойской шляпе и за спиной имел гитару. На всякий случай Шеврикука пожелал помахать водяному рукой, но сразу же понял, что Марафетьев его приветствия и не заметит. Он, Шеврикука, лежал глубоко в цветущих кустах шиповника. При попытке подняться застонал и принялся браниться. Все в нем болело. Все, но в некоторых местах боль была особенно ощутимой. Исследовав географию боли, Шеврикука пришел к выводу, что добросовестнее всего экзекуторы отнеслись к устному распоряжению: «Под зад коленом!»

Ковыляя домой, Шеврикука не раз оборачивался, грозил кулаком Башне и находил слова, каким позавидовали бы подсобные рабочие рыбных магазинов.

Потом клокотание в нем поутихло. «Кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино?» – вспомнилось Шеврикуке. А он возвращался. Понятно, они могли и лукавить, кто-то вдруг и вернулся, иное дело – как и в каком виде. А он, несомненно, возвращался. И возвращался Шеврикукой. И он почувствовал себя чуть ли не победителем. Видали, экий Шеврикука-то он!

Однако победные песнопения звучали в нем недолго, и с унылой рожей явилась мысль: ну и какие такие достижения в том, что он уцелел и возвращается? Накануне о возвращении он вовсе и не пекся. И выходило, что он проиграл. Он упустил шанс, который вряд ли еще представится. Его не приняли всерьез, не признали даже достойным темницы или измеления в порошок, его отрыгнули за ненадобностью, не считаясь с приличиями и без боязни последствий. А если рассудить холодно, переведя себя в состояние студня из свиных ног с желатином, то следует признать, что более других виноват был он сам. Он ведь знал, куда рискнул проникнуть, готовился к капканам, унижениям и даже пыткам, роль себе сочинил и выстроил и вдруг – к собственному изумлению – повел себя гордецом, дерзил собеседникам. «А зачем они кривлялись? – начал оправдываться Шеврикука. – Кривлялись-то зачем?.. Голосами дурными верещали, щипались, вспоминали Риббентропа, балаган устраивали... Зачем?..» «Их право, – тут же ответил себе Шеврикука, – не они тебя приглашали, ты сам изволил их посетить». Отважившись двинуть в поход, был согласен на любого собеседника, да что согласен – мечтал о любом собеседнике, а заполучив его, надо полагать, что и не «любого», принялся ему хамить. И тогда еще терпение у них не иссякло. Хотя бы два слова существенных они желали от него услышать. Коли сам приволокся. И не услышали. Возможно, их устроили бы и «Чаша Грааля», а он и о ней не сказал. («Далась тебе эта «Чаша Грааля»!» – опять удивился себе Шеврикука.) Дурак, он и есть дурак, добавить тут нечего. Ну, живой, ну, вернулся, а дальше что? Что дальше-то? Ведь он уже и в мыслях выкорчевал себя из привычной жизни. К тому же как пребывать здесь, как служить после воскресных посиделок?

«А-а-а, – в отчаянии решил Шеврикука, – сяду-ка я на больничный. Выправлю-ка я больничный и отсижусь. И дядя, уполномоченный, фикус меня не достанет. А там посмотрим!»

Добывать больничные Шеврикука и при непоколебленных состояниях своей натуры был умелец, теперь же и ловчить не стоило, а надо было лишь предъявить дежурному знахарю спину и задницу («сдувал пыль с лампочек, рухнул вместе с люстрой, сами знаете, какие выпускают, пусть и по конверсии») и удалиться от недоброжелателей в спасительное укрытие постельного режима. И Шеврикука немедленно посетил ночного знахаря. Дежурил тот в калекопункте на четвертой липе (если встать передом к Хованскому проезду) Поля Дураков, зевал в безделье.

Бумагу выправил вмиг. Шеврикука получил снадобье для растирания («нынче туда добавлены шакальи выбросы, из Замбии, некоторые суют вовнутрь, но я бы не советовал»). В малахитовой вазе Шеврикука решил обдумать происшествие дня заново и всерьез, мысли по дороге от пруда и домой казались ему теперь неразумными, зыбкими, суетными. Но тут же ощутил сигнал: в его подъездах опять нарушалось благонравие. «Нет меня! – протестуя, в воздух, сделал заявление Шеврикука. – Я больной! На больничном! Болею болезнью!» Но шум опять происходил из окрестностей квартиры активиста Радлугина.

«Ну попадитесь мне сейчас подлец Продольный и уполномоченный дядя!» – возмечтал Шеврикука.

Однако и сам Радлугин, так и не вознагражденный ведомствами судьбы розовым унита-зом, был встревожен и раздосадован не менее, нежели Шеврикука. Шумели над ним, в квартире кандидата наук Мельникова, и на ближних пролетах лестницы. Радлугин звонил в «Скоруую», в милицию, к пожарным, машины приезжали – и белые, и желто-синие, и красные. Но и отбывали. Выяснив причины ночного праздника, лица, вызванные Старшим по подъезду, проявляли непростительное благодушие, никого не брали, не окатывали струей, никого не убеждали резиновыми доводами, а говорили: «Историческая неизбежность. Человечество прощается с прошлым. Пусть порезвятся напоследок. К шести разойдутся».

Уснуть супруги Радлугины не могли, в пижамах толклись у двери, приоткрытой на две цепочки, и время от времени обращались к народу с пронзительными призывами и назиданиями. «Не митингуйте, – отвечали им без злобы, но с усталостью и печалью. – Вот метро поедет, и мы уберемся». А стрелки подтянулись к трем.

Шеврикука в приличном виде ввинчивался в компании курящих вблизи квартиры Мельникова и скоро вызнал все обстоятельства. Вот что было. Упразднили Департамент Шмелей. Длиннее: Департамент, управлявший полетами шмелей. В бумагах название Департамента выглядело еще более протяженным. Дело к тому шло. Той самой исторической неизбежностью, о которой справедливо напоминали Радлугину медики, милиционеры и пожарные, Департамент был поставлен в очередь. Теперь номер его выкликнули. Упразднили. Разогнали. Изничтожили. Компот сварили из чиновников, объявив, что накладно надзирать из первопрестольного населенного пункта над шмелями, да и противно это естеству природы, пусть перепончатокрылые летают, кушают, плодятся и совершенствуются сами по себе. Патриоты Департамента учинили прощальный бал. Гуляли в ресторане. Когда утихли, околев, ламбады и эскадроны мыслей шальных, решили продолжить. Кто где. Вспомнили, что талант, а может, и гений Митя Мельников, малахольный и великодушный, может многих вместить в своей холостяцкой квартире. К нему и бросились. И хорошо сидели. Теперь догуливали, курили, зевали. Впрочем, иные были еще резвые и неутоленные.

– Ба, и вы здесь! – Шеврикуку хлопнули по плечу.

– Я? – Шеврикука даже растерялся. – Да, я здесь... Здесь я...

Приветствовал его квартиросъемщик Сергей Андреевич Подмолотов, проживавший на втором этаже и хорошо Шеврикуке известный.

– Вы тоже, что ли, в нашем Департаменте работали? – обрадовался Подмолотов. – А я и не знал. Я сегодня со многими познакомился, с кем, оказывается, работал.

– Нет, – сказал Шеврикука. – Я здесь случайно. Я ведь тоже живу в этом доме. Возможно, мы с вами сталкивались во дворе, в магазинах, в очереди за квасом...

– И не только за квасом! – рассмеялся Подмолотов. – То-то я вижу – лицо знакомое.

– Конечно, конечно, – закивал Шеврикука. – И мне ваше.

– А на Северном флоте вы не служили?

– Нет. На Северном я не служил.

– Тогда, наверное, в Севастополе?

– Нет. И в Севастополе я не служил.

– Ну и ладно. Тем более следует промочить горло. Пойдемте к Мельникову.

И Подмолотов повлек упиравшегося Шеврикуку из коридора к столу. Сергей Андреевич Подмолотов был мужчина шумный, из породы громобоев, он и носом издавал громкие звуки, нос этот был солидный, трубой, напоминал нос Корнея Ивановича Чуковского. Сергей Андреевич в Департаменте трудился в должности инженера по технике безопасности, но и во дворе и в доме его знали прежде всего как бывшего и доблестного моряка. Срочную службу он проходил на непотопляемом крейсере «Грозный». Его и называли во дворе не Сергеем Андреевичем и не Серегой, а то Крейсером, то Грозным.

– Митя! Мельников! – загремел Подмолотов. – Смотри, кого я привел! Вот, видишь! – И уже шепотом: – Запаятовал, как вас именуют, в голове нынче все перемешалось, извините...

– Меня? – замешкался Шеврикука. – Игорем Константиновичем...

Он сам себе был удивлен. Случались эпизоды, когда в людских компаниях и передрягах ему приходилось придумывать себе имя и отчество. Но «Игорь Константинович» никогда не являлось ему в голову, и не было никаких объяснений, почему теперь он объявил себя именно Игорем Константиновичем.

Впрочем, никто на него, похоже, не обратил внимания. Дмитрий Мельников, узкий в кости, деликатного сложения блондин, кивнул из вежливости. И ему, наверное, лицо Шеврикуки показалось знакомым. Но Мельникова, вцепившись в куртку, тянул к себе возбужденный собеседник с намерением то ли расцеловать Митю, то ли плюнуть ему в физиономию. И собеседник этот проживал в Землескребе. Департамент в пору расположения к нему городских властей выбил здесь немало квартир. Собеседник Мити был экономист Дударев, красавец мужчина лет тридцати пяти с коварными тонкочерными усами графа Люксембурга или князя Эдвина, покорившего королеву чардаша, вертопрах и плясун, в словесных баталиях способный обескуражить и самого Радлугина. Наконец, Дударев расцеловал Митю. Но тут же гордо оттолкнул его от себя и сказал:

– Ты – мельник, колдун, обманщик и вор, и дело наше, еще и не начатое, а значит, и тем более хрупкое, желаешь предать!

– Почему я обманщик и вор? – пьяно пробормотал осевший на стул Митя.

– А потому что опера есть такая композитора Фомина «Мельник – колдун, обманщик и вор». Или сват. Не важно. Лучше вор! Ну ладно, мельник ты теперь только по фамилии. И небось уже не колдун. Стало быть, остался только – обманщик и вор!

– Почему я обманщик и вор? – обиженно повторил Митя. – Почему я...

– Ты, Дударев, не прав, – вломился в разговор Подмолотов. – Ну конечно, Митька уже не мельник. И где они, мельницы, где? Где мука? Где вермишель и рожки? Но колдуном-то он может быть, их-то хватает!

– Могу! – тут же откликнулся Мельников. – Колдуном – могу! И прабабка моя была колдуньей. Под Дмитровом. В селе Ольгово, в имении Апраксиных, там, где Пиковая Дама на портрете... Колдуном – могу!

Сил у Мити хватило лишь на это заявление, веки его смежились, он заснул.

– Все он врет! – заключил Дударев. – И дело наше поддержать не желает!

– Какое дело? – спросил Подмолотов.

– Тише! Тише! – зашипел на него Дударев. – Неугомонный не дремлет враг!

Сейчас же из угла комнаты воздвигся человекобык с бокалом в руке и запел: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и-и-и, – палец певца поперся вверх, превращаясь в восклицательный знак или в жезл управителя движением, – и-и-и как один умрем в борьбе за это!» «Бордюков, успокойся!» – приказала певцу крепкая обильная дама, похожая на метательницу ядра, сама будто выложенная из ядер, за столом она хозяйничала, и ее слушались. Вот и Бордюков, испив из бокала, крикнул, сел и успокоился. «Бордюков – это наш кадровик. И по общим делам... – зашептал Шеврикуке Подмолотов, видимо посчитавший, что свежего человека сле-



дует просветить. – А соседка его – Совокупеева, она передовых взглядов и всегда в президиумах, тоже экономист, как и Олег Дударев, но сознательностью выше... А вон та барышня, раскраснелась вся, это наша прелестная Леночка Клементьева, музыковед, она из музыкального управления. Бывшего, конечно, бывшего...» «Какое в вашем Департаменте могло быть музыкальное управление?» – усомнился Шеврикука. «А как же! – Подмолотов сомнениям Шеврикуки чуть не обрадовался. – А моряк-то великий, пусть и не служил на крейсере «Грозном», но за сколько лет все предвидел и написал «Полет шмеля»! Леночкино управление занималось биомузыкой, расшифровкой серенад и трудовых песен шмелей, других разных насекомых. Леночка, скажем, вела стрекоз, ну я еще кое-что, вы понимаете... – Тут Подмолотов зашептал совсем тихо, губы его почти сжались. – Конечно, мы и шмелей курировали, и их процветанию содействовали, но и не только... Много чего секретного... Теперь другое мышление. И правильно... Но было, было... Вот и Митя Мельников, Эдисон с Яблочковым, такие темы разрабатывал, такое изобретал, что и рассказать нельзя, талант и гений!» «Точно! – подтвердил усевшийся рядом Дударев, плясавший только что за стеной, налил всем в рюмки жидкость бурого цвета и тоже зашептал: – Митьке-то давно быть доктором, академиком, а он лодырь и карась, он и теперь уже такое соорудил, почти соорудил, что чего хочешь материализует. Вот все, что Крейсер Грозный врет, и это материализует!» «Я никогда не вру! – обиделся Подмолотов. – Нигде. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Ты же знаешь». «И такого человека, как Мельников, разогнали и сократили? Как же так? – не поверил Шеврикука. – Его куда только с почетом не звали, а он сказал: буду как все. И его не сдвинешь». «Дурак он! – вспомнил возмущенно Дударев. – Колдун, обманщик и вор! И дело наше поддержать не хочет! Предатель!» – «Какое дело?» – «Тише! Ша! Замолкли! – зашипел Дударев. – Выпьем лучше! А Ленка-то как на него смотрит. Тоже дуреха из оленьего стада!» Музыковед Леночка Клементьева, рекомендованная Шеврикуке Подмолотовым, и впрямь во все время их разговора не сводила с Мельникова черных глазищ, восторженных и жалеющих, и все видели, что она в Митю влюблена. На Митю глядел и ее приоткрытый рот. Хотелось бы сказать: ротик. Но нет, у Леночки был именно рот, и большой, нисколько, впрочем, ее не портивший. И вызывавший даже предположения, что Леночка – барышня не только благоуханная, но и страстная. Теперь она явно желала подойти к Мите и замереть возле него, оберегая Митин сон. Но сила вмещенного в нее напитка подняться ей не позволяла. «И-и-и! – опять взлетел палец Бордюкова. – Как один умрем в борьбе за это!» Теперь певцу на глотку не наступили, а даже попросили начать кантату «От края до края по горным вершинам, где вольный орел совершает полет», и он, обнаружив в себе ансамбль Александра, просьбу ринулся исполнять. Бордюкову стали подтягивать. Хоровое пение в Останкине никогда не умирало, менялись лишь вкусы и пристрастия любителей. Долгие годы здесь, как помнилось Шеврикуке, звучали все более трогательные, бередящие душу или, напротив, обнадеживающие слова. Вроде таких: «Ромашки спрятались, опали лютики...» Или: «И снится мне не рокот космодрома...» Или: «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом!» Или: «Из полей доносится «Налей!» И конечно: «Горная лаванда»! Где те устойчивые времена! Сейчас же получалось, что квартиросъемщики и их гости при хоровом пении из лирического состояния впадали в гражданское. При этом свирепели, и орали, и готовы были бить посуду. Шеврикука поглядывал на солиста, человекобыка Бордюкова, и прикидывал, перевернут ли стол вместе со спящим хозяином или нет. Не перевернули. Утомились... Тут он наконец разглядел, что на столах осталось и что с них уже было взято. При нынешних затруднениях к Мельникову принесли закуски и напитки из семейных добыч и запасов, все больше домашнего приготовления. Жидкость от разных специалистов была своего цвета – и бурая, и свекольная, и мутно-оранжевая, и прозрачная, как совесть отечественного налогоплательщика. «Кони сытые быют копытами!» – забрал Бордюков. Его остановили предложением выпить за урожай и за преодоление кризиса в Новой Гвинее.

– Мо-ол-ча-ать! – вскочил вдруг на стул мелкий взъерошенный мужчина с тремя жетонами победителя соревнования на эпонжевой ковбойке. – Мо-ол-ча-ать! У нас что? Нам что – знамя вручили? У нас поминки. Мы упразднены. Мы сокращенные. Нас нет. Нет. Мы живые трупы. Мы привидения. А тут поют и пляшут! Ра-зой-дись!

– Свержов, успокойся, спать пора, баиньки пора! – Возле оратора сейчас же оказался легкий Дударев, стал за ногу стаскивать Свержова с кафедры, подоспела Совекупеева, она хозяйственно схватила Свержова, заграбастала его и повлекла из компании на покой.

«Наверх вы, товарищи, все по местам!» – стал размахивать руками Бордюков, приглашая публику открыть глотки и ответить Свержову и судьбе. «Это по-нашему, по-флотски! – одобрил Бордюкова Подмолотов, успел шепнуть Шеврикуке:

– А Свержова вы в голову не берите. Замначальника управления передних плоскостей. По режиму. Он, конечно, строгий. Да и как же ему без строгостей? Но вы не бойтесь. Это он на нервах». И последовал Бордюкову во вторые голоса.

И все же гулянье криками проявившего бестактность Свержова было расстроено. Вот уж и из песен исчезла энергия. И пили без тостов, кто как – кто с соседом, кто сам с собой, кто чокаясь с рюмкой или плечом дремлющего Мельникова. Шеврикука полагал, что ему пора раскланяться, но встать не мог. Трезвенником он не был, но и не увлекался, и уж под столами и заборами никто его не наблюдал. А тут он затяжелел. Может, на Башне его слишком расстрясали и изволтузили. «Ну ладно, – говорил себе Шеврикука, – еще посижу, послушаю». Как это он прежде-то не проявлял интереса к Мите Мельникову и занятиям Департамента Шмелей? А вдруг и не случайно Продольный с уполномоченным дядей собирались заменить предмет из системы общей связи именно под Митей Мельниковым? Не был ли в их предприятии какой-нибудь особый смысл или технический фокус? А покойный Фруктов, до гибели доведенный, проживал прямо над Мельниковым! Так-так-так! Нет ли во всем этом темного, но и вызванного кознями сплетения обстоятельств, которое ответственный домовый-двухстолбовый проморгал? Чьими кознями? Из-за чего и ради какой выгоды? «Фу ты! – останавливал себя Шеврикука. – Глупости мерещатся, закусывать следовало борщом...» Тут на плечо Шеврикуке доброжелательно возложила руку крепкая дама Совекупеева. Рука ее была горячая, и сама Совекупеева исходила жаром. Или истомой. Нельзя сказать, чтобы возлежание руки на его плече вышло для Шеврикуки неприятным. Опять Шеврикука подумал, что Совекупеева может – и удачно – толкать ядро и вся сложена из ядер. «Как это материя, тряпки всякие выдерживают, как не треснут, когда ядра ее перекатываются?» И в этой ленивой мысли Шеврикуки не было неприязни, скорее содержался комплимент женщине. «Такая и в Доме Привидений бы не пропала, – подумал Шеврикука. И тут же на себя фыркнул: – Не пропала бы! Она там бы в первые привидения вышла, да еще бы и свечи в шандалах растопила!» В грезах Шеврикука перевел в Дом Привидений и Леночку Клементьеву, и Леночка увиделась там уместной. В тех же грезах сразу возникли чаровница Гликерия и бесстыжая Невзора, она же Копоть, и стали Шеврикуку гневно отчитывать, Шеврикука их не прогнал, он хотел всех, и хрупких, и обильных, примирить и обнять...

– Какая улыбка у вас благодущная! – услышал Шеврикука явно ласковые слова Совекупеевой. – И хохолок какой... И уши какие большие...

С плеча Шеврикуки горячая рука Совекупеевой двинулась к его лбу, потрепала жесткий клок его русских волос, а потом захватила его левое ухо, сжала его, отпустила и стала гладить розовую мочку и ушную раковину.

– И такую женщину сократили? – млея, произнес Шеврикука. – И такую женщину упразднили? О чем же они думали...

– И сократили! И упразднили! – Рука Совекупеевой взлетела вверх, пальцы сцепились в кулак, и опустилась на стол, произведя переполох посуды. – Давай, друг, дернем с горечью!

Себе из криминальной по классификации Радлугина бутылки она плеснула бордовой жидкости в стакан, оглядела рюмку Шеврикуки в недоумении и заменила ее, как неспособную составить счастье, стаканом же, они дернули с горечью, и Шеврикука понял, что Совокупеева его сейчас повлечет. Но опять загремели, заголосили человекобык Бордюков и Свержов со значками соцсоревнователя, теперь вместе, вскочив на соседние стулья, правда, один выступал с песней, другой с устной прокламацией – звал с ружьем и на улицу. Но песня не была поддержана, и ружье не нашлось. В Шеврикуке же все текло и колыхалось, и состоялись минуты, когда жаркая дама Совокупеева увлекла его в приют любви, и было испытано им удовольствие, будто бы он откушал сдобный пирог с малиновым вареньем, только что вынутый на противне из духовки. А потом Шеврикука задремал.

Проснувшись, он ужаснулся: давно столько не спал. Сидел он за столом в квартире Мельникова, и из-под его рук и головы старались вытянуть скатерть. Шеврикука вскочил. «Как же это я? А дела? Дела! Ты на больничном! Ты на больничном!» – тотчас зазвенели над ним бубенцы. Шеврикука огляделся. Легкий Дударев, тихие поутру Подмолотов, Совокупеева и Леночка Клементьева убрали в квартире, и Шеврикука вызвался носить посуду на кухню. Совокупеева на него и не посмотрела, воспоминания о пироге с малиной из духовки предлагалось не держать в голове. Впрочем, воспоминания эти и не слишком были нужны сейчас Шеврикуке.

В коридоре под потолком, вытянув руки в ноги будто в полете, раскачиваясь, висел человекобык Бордюков и, не глядя вниз, нечто бормотал. Под ним стояли Митя Мельников и еще более, чем ночью, взъерошенный соцсоревнователь Свержов, уговаривая кадровика, корифея анкет и личных дел снизить к людям. Бордюков мрачно мычал и мотал головой. «Как это он башку-то смог пропихнуть в кольцо? – удивился Шеврикука. – Он же теперь ее оттуда не достанет». Митя Мельников из двенадцати колец, родственных гимнастическим, устроил себе под потолком место для умственных полетов и обывательских мечтаний. Имели же туземцы в Западном полушарии и до Колумбовых каравелл гамаки. Митя просовывал голову в кольцо, остальные кольца и ремни держали его туловище, раскинутые ноги и руки, Митя покачивался в квартирных высях, отдыхал, обмозговывал свои технические соображения, а то грезил. Но это Митя. А Бордюкову-то зачем потребовались выси? И каким макарон сумел он взлететь? Впрочем, не Шеврикуки это было дело. Спускаться на пол Бордюков не желал, а может, и не соображал, где находится. Совокупеева, выйдя в коридор, спросила, опохмеляли ли Бордюкова или нет, и, узнав, что не опохмеляли, посоветовала принести стакан «лигачевки», но не поднимать его к объекту, а поставить на пол. Увидев под собой самогон, Бордюков задержался, хотел было ввести себя в штопор, но не вышло. Подставили стремянку, с трудами и ругательствами высвободили тело Бордюкова, а голова не давалась, была в два раза шире кольца. Следовало кольцо пилить. Пока искали пилу или ножовку, Шеврикука, поморщившись, поднялся по стремянке, растянул кольцо, с тушей Бордюкова чуть ли не рухнул на пол, с метр вынужденно пролетел. Совокупеева удивилась, стояла озадаченная, впрочем, недолго. Действия Шеврикуки, возможно, укрепили ее в чем-то, она взглянула на него со значением, но сейчас никуда не повлекла. Ушла по делу. А Бордюков шарахнул стакан и потребовал еще.

– Ну нет! – решительно сказал Дударев. – Все выпито, пролито и испарилось! Сам бы с удовольствием, но не имеем. Сейчас все вымоем, вытрем и пойдем в парк, там под каждым кустом сидят дяди Гриши и тети Грани, у них на квартирах курятся напитки и марочные, и ясновельможные.

Бордюков уныло кивнул, подниматься с пола не стал. Когда действительно все было вымыто и вытерто, Дударев предложил и Леночке с Совокупеевой участвовать в оздоровительной прогулке. Леночка, кротко, влюбленно взглянув на Митю Мельникова, была согласилась, но Совокупеева цыкнула на нее, заявив, что после вчерашнего надо думать не о душе, а о хлебе

насушном. Хлебом-то все же именно и жив человек, а в три часа им с Леночкой назначен дорогой разговор в хорошем совместном предприятии.

– Да-да! Конечно! – рассмеялся Дударев. – В советско-йошкарولينском. Будете в ихнем «Макдональдсе» накрывать на стол. Подадите нам моченый горох: «Просим вас, мужчины!..» Мы-то как раз в парке и поговорим о деле. И Митечку заставим в него вступить.

– Заставим! – утвердил с пола Бордюков.

– Нет, – заявила Совокупеева. – В твое дело включиться, коли будет нужда, успеем. Нам с Леной надо сегодня сходить. А перед тем зайти в баню и к парикмахеру.

– Ну смотрите, – сказал Дударев.

## 6

Прежде останкинским мужчинам в утреннем и неотложном состоянии не пришлось бы шагать долго. Принял бы их и исцелил незабвенный пивной автомат на Королева, пять. Но, увы, в восемьдесят пятом году открылось новое внеисторическое сражение с пороком, в результате чего помещение автомата было даровано райотделу милиции. На моей памяти таких государственных сражений происходило много, начинались они всегда с души, с газетных слез матерей и жен, с печалей по поводу подпорченных бормотухой и вражьиими силами народных генов, а заканчивались исключительно повышением цен на сосуды, столь приятным населению. Но кампания восемьдесят пятого года оказалась особенно резвой и отечественно-спасительной. При ней не только повысили в нравственных целях цены, издали «Роман-газетой» тексты тихонравного медика Углова, обрадовали торговлю всех видов, но и вызвали беспредельное производство самогона, всюду называемого, независимо от удач изготовителей, «лигачевкой». А останкинских жителей лишили пивного автомата. Вот теперь наши знакомцы и шагали из Землескреба в Шереметевскую дубраву имени Ф. Э. Дзержинского.

Шагали они в шашлычную. Ни шашлыков, ни опасных для желудка «колбасок», возводимых в меню в достоинство купат, в той шашлычной уже не водилось. Там можно было заказать на закуску песочное печенье, а в случае счастливой торговли – морскую капусту и морское же существо кукумарию. Но зато рядом в зарослях бузины и черемухи обретались дяди Гриши или тети Грани, с ними несложно было порассуждать на предмет самогона, не вынимая из карманов визиток. Шеврикука вовсе не хотел идти в парк, но его уговорили составить компанию. Он даже сопротивлялся, бормотал что-то о делах, но Дударев, нынче самый порывистый и устремленный, удивился: «Какие такие, Игорь Константинович, дела, когда вы на больничном?» Тут и Шеврикука удивился: экий дотошный и ушастый этот Дударев, всего-то раз он и назвал себя Игорем Константиновичем, а тот удержал в памяти. Насчет больничного Шеврикука и вообще не помнил, что кому-то говорил о нем. Неужели его так разобрало ночью, что он принялся болтать людям про обстоятельства своего существования? Он и согласился пойти в парк с бывшими тружениками Департамента Шмелей, чтобы выяснить, не открыл ли он в загуле о себе чего и похлестче.

Но спутники по дороге в парк особого интереса к его персоне не проявляли. И если Дударев и Подмолотов выглядели оживленными и нечто предвкушавшими, то Свержов и Митя Мельников шагали молча и в печали, а Бордюков, вчерашний песельник, просто плелся. Можно было предположить, что эти пятеро в друзьях прежде не ходили. Возможно, лишь проживание в Землескребе делало их останкинскими земляками, да и разгон Департамента Шмелей сбил их в кучу. Отчего-то Шеврикука вспомнил о домовом Петре Арсеньевиче, хотя после воскресных посиделок сокращение вряд ли тому грозило.

– Ничего, ничего, сейчас поправим состояние, – обратился к Шеврикуке Дударев. – И о деле поговорим. Вы, Игорь Константинович, кто по профессии? Я, возможно, прослушал...

– Смотря что считать профессией, – сказал Шеврикука.

– Да, да! Конечно, конечно! Вы правы! Вот наш прекрасный Бордюков не имеет никакой профессии, а дела делал.

– Не делал, – сказал Свержов, – а портил людям жизнь.

– Это нас сейчас не касается, – махнул рукой на Свержова Дударев. – Так что вы, Игорь Константинович, умеете делать?

– Многое, – вздохнул Шеврикука. – Многое чего умею делать...

– Ну уж, наверное, не все, – рассмеялся Дударев. – Вот, скажем, то, что смог бы сделать Митечка Мельников, вы, думаю, не сможете. Он у нас уникальный талант. К тому же из колдунов. По отцовской линии.

- И по материнской! – добавил Подмолотов. – А вот морских узлов вязать он не может!
- Как твоя фамилия? – спросил Бордюков.
- Подмолотов, – сказал Подмолотов.
- Ударение? – спросил Бордюков.
- Подмолотов.
- Не ври!
- Как у наркома иностранных дел. Но с приставкой.
- А ты его лично знал?!
- Я-то? Нигде, ни за что, ни при каких обстоятельствах! Конечно, знал. Мы строим в Бирюлеве, я тогда был в СМУ, он идет мимо, ему девяносто шесть лет, он говорит: ты, что ли, тоже Молотов? Нет, говорю, я Подмолотов. Он говорит: ну все равно, давай выпьем, а у меня стакан в руке, я ему даю, он выпил, говорит: хороший спирт. Сталин, говорит, дурак, меня не уважал, а Хрущева, дурака, привечал.
- Все ты врешь! – сказал Бордюков. – Ты вот и на Мельникова грешишь, а сам, уж точно, ни одного узла связать не сумеешь!
- Я-то! – рассмеялся Подмолотов. – Это вот Игорь Константинович, возможно, не сумеет.
- Я сумею, – грустно сказал Шеврикука. – Хотя и надоело.
- А наркомов ты не пачкай! – заявил Бордюков Подмолотову. – И на узлы твои мне наплевать. Где у тебя ударение?
- Я Подмолотов. И все.
- Здравствуйте! Ты – Крейсер Грозный! – обрадовался Дударев. – Ты – Крейсер Грозный, и более никто!
- А узлы вы все равно не умеете вязать.
- Умею, – поморщился Шеврикука.
- Неужели и выбленочный?
- И выбленочный. Хотя он и противный. И кошачьи лапки. И удавку. И рыбацкий штык. И еще восемнадцать узлов, о которых вы и не знаете.
- Я не знаю?! – возмутился Подмолотов.
- Да, – сказал Шеврикука, – вы про восемнадцать узлов, на флоте не применяемых, и не знаете.
- Какие такие восемнадцать? – растерялся Подмолотов. – Да я все узлы знаю!
- Я могу назвать и еще тридцать узлов, о которых вы и представления не имеете.
- Никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах!
- Хорошо, – сказал Шеврикука. Он почувствовал, что сейчас начнет врать, фанфаронить и надо себя ограничить. И помнить, кто он есть.
- Ну-ка покажите выбленочный-то! – вдруг потребовал Свержов. – Я вот сейчас шнурки из ботинок выну.
- погоди! – сказал Дударев. – А полы вы, Игорь Константинович, циклевать можете?
- Полы, – сказал Шеврикука, – могу.
- А рубанком?
- И рубанком.
- А чтоб леща вяленого достать в Самаре? – спросил Подмолотов.
- Это не ко мне, – сказал Шеврикука.
- Я вас уважаю, – заключил Дударев.
- И леща не может! – стоял на своем Подмолотов. – И уж тем более не развяжет ртом двадцать девятый узел!
- Двадцать девятый, тридцать первый, тридцать восьмой ртом могу, – заупрямился Шеврикука. – А вот начиная с сорок третьего, извините, исключительно носом.
- Я тебя уважаю! – сказал теперь и Свержов.

– Сорок третьего морского узла нет, – покачал головой Подмолотов. – Сорок четвертый есть, а сорок третьего нет.

– А давайте поедem в «Кот д'Ивуар», – возмечтал Митя Мельников.

– Сколько ты нам положишь? – спросил Свержов Дударева.

– Не меньше семисот. Поначалу. Иначе вы и не прокормитесь, – сказал Дударев. Тут же взглянул на Шеврикуку: – А вам не смогу дать больше пятисот пятидесяти.

– Я к вам и не собираюсь, – сказал Шеврикука.

– Но-но-но! – погрозил ему пальцем Дударев. – Ишь, уже загордился!

Но уже приблизились к шашлычной. И была тут же обнаружена в зарослях тетя Грания, поход ее за трехлитровой банкой совершался не более двадцати минут. Расселись в воздушном зале шашлычной, день был сухой, не капало, сиделось хорошо. Поначалу молчали, разливали, пили, жевали, фыркали и находили, что стало легче. Похоже, что из Бордюкова, Свержова и Мельникова унеслась тоска, и даже увиделось им некое благополучие в мире и в собственных судьбах. А Дударев и Подмолотов выглядели еще более задорными. Дударев холил расческой коварно-крутые усы, поглядывал, нет ли поблизости каких-нибудь утренних дам, в надежде их развлечь. Но дам не было. А Подмолотов, Крейсер Грозный, явно хотел напомнить публике что-либо из своей вулканической жизни. Шеврикука и выпил всего полстакана, а опять отяжелел. Это было странно.

– Вот так же сидим мы однажды в Эфиопии, – сказал Подмолотов, – крейсер наш посещал с дружеским визитом, и заходят в бар американцы. Они такие же, как и мы.

– Ага! Прямо и такие! – поморщился Свержов.

– Такие же! – заявил Подмолотов. – Может, и еще лучше. Но не хуже. Тем более тоже моряки. Сразу поспорили, чей флот крепче. Естественно, мы их перепили. Очнулся я в госпитале. Но и перед госпиталем я кое-что чувствовал. Мы плыли по Амазонке.

– Ага! По Амазонке! – обрадовался Свержов. – Это какая же Амазонка в Эфиопии?

– Правильно, – кивнул Подмолотов. – Амазонка не в Эфиопии. Она в Бразилии. Нас срочно вызвали в Бразилию. Мы утром там.

– Где Эфиопия и где Бразилия?

– И что! – Подмолотов чуть ли не возмутился. – Под Африкой мы прошли туннелем. Скоростным. Там есть такой туннель. Секретный. О нем нельзя говорить. Но вы люди проверенные. Про Мертвую дорогу слышали? Ну? А этот успели достроить. Не всех сразу отпустили. И вот идем мы, значит, утром Амазонкой. Река дурная! Мутная. И выплескивается в океан. Валы катит. Не пускает. Но кого не пускает? Атомный гигант не пускает! Мы ей пальчиком: не шали, Амазонка! Сразу стала шелковая. Впустила. Но опять видим: дурная. Деревья вдоль нее стоят прямо в воде. Растут друг на друге. Корни у них залезть в глубину не могут, раскорячиваются, зовутся «дощатыми». Доски, а не корни. Во! Хотя и не доски. И все зверье попряталось, засело в лианах. Жулье. И попугаи. Ярких расцветок. Но кое-где все же берег как берег, и на нем поселения. Индейцы голые с пузатыми детьми, пупки торчат, тысячу лет не видели настоящих моряков. Монтесумы. Затерянный мир. Но вдруг – фазенды. Плантации. Негры маются там и тут. Из-за одной такой фазенды у меня и возникли затруднения.

– Куда вы шли-то? – спросил Мельников.

– А в Парагвай. Там несколько адмиралов русских. И генералов. Из эмигрантов.

– Погоди, – сказал Свержов. – Что на фазенде-то?

– А ничего, – сказал Крейсер Грозный. – Ничего. Идем мы и видим – слева по борту на берегу мужика и бабу привязали к столбам и бьют кнутами. Видимо, рабов. Мужик – негр, баба – белая. Красивая. Молодая.

– Изаура, что ли? – лениво предположил Дударев.

– Какая Изаура? – не понял Крейсер Грозный. – Не знаю – Изаура она или Виолетта. Или Флорелла. А только не по мне, когда женщину стегают кнутом. Я говорю капитану: надо или

десант, или из орудия главного калибра. Он мужик вообще-то боевой, но тут русского моряка в нем одолел политик. «У нас государственная задача – Парагвай, мы туда и идем. Только туда. А у этих, возможно, семейные причины. Что вмешиваться? Известно, кто при этом получает в морду. И по заслугам». Ну я не мог слушать и смотреть. Я как стоял, так и бросился к левому борту и – ласточкой в мутную воду. Дую саженками, а по женщине опять – хлесть кнутом. Думаю, сейчас вы узнаете, почему Крейсер Грозный! И тут на меня в амазонской воде с боков, спереди, сзади подло напали мелкие сволочи вот с такими зубьями – как иглы в швейной машине. Очнулся я на койке. О чем вам начал докладывать. Лежу завернутый в Андреевский флаг. Где, говорю, я? Вы, говорят, в военно-морском госпитале на пристани Манаус. А как, говорю, она? Как там на плантации? Она, говорят, жива, обложена примочками, плантатор сбежал, фазенда сгорела. А из Сан-Паулу ночью прилетел Пеле, его, правда, мы не смогли к вам пропустить, но он передал цветы. Действительно, на тумбочке, салфеткой застеленной, кувшин с цветами. Васильки, ромашки, львиный зев, зверобой, колокольчики. И сухой лист. Если бы я не был флотским, глаза бы у меня заморозили. Растрогал меня Пеле. Миллионер миллионером, а знает, какие растения мне по душе. Не испортили мужика деньги. Распеленайте меня, говорю, смотайте с меня Андреевский флаг. Смотреть-то мы, говорит, сумеем, но только вы нас не торопите, вы распеленутый, может, огорчитесь. Это отчего же? А, говорят, вы плохо знаете наши природные особенности. Вы, говорят, возможно, об этих подлых пираньях придерживаетесь превратного мнения. А они не только всю вашу сукодную форму русского моряка с брюками клеш сжевали, но и еще кое-что. Как, говорю, и главный предмет? Главный-то предмет, говорят, как раз в первую очередь. И что же мне теперь делать, спрашиваю? А это, говорят, мы не знаем. Опять же если бы я не был флотским, у меня по щеке тихо протекла бы слеза. А они говорят, то, что вы вчера просили, вам пришили взамен. И хорошо пришили. У нас в Манаусе хирурги не хуже, чем в Арканзасе или где-нибудь в Штутгарте. Но если пришитое вас будет тяготить, вы можете его на время отъединить. Вещь съемная. То есть, извините, говорят, конечно, не вещь. Но вы сами просили пришить именно это. И не просили, а требовали. И умоляли. Можно, естественно, посчитать, что вы требовали и умоляли в горячем состоянии или даже в забытии, но вы убедили нас, что такова ваша мечта и воля. И соблаговолили заверить письменное ходатайство. Вот, пожалуйста, оно. На трех языках. На русском тоже. И ваш отпечаток пальца. Операция проведена уникальная. Ну и сматывайте с меня, говорю, Андреевский флаг. Они потупились. А вдруг, говорят, теперь в моменты слабости вы расстроитесь? Что хоть пришили-то, спрашиваю? Анаконду, отвечают. Какой длины? Одиннадцать метров, экземпляр крупный. Да вы что, кричу, чем же я ее в Москве кормить буду! Это кто – кобель-анаконда или сука? Кобель, успокоили. Вот, говорю, его тем более небось не заставишь жрать мороженный картофель или брюкву. И не надо бы, советуют. Анаконда – змей водяной, конечно, рыскает и по земле, но предпочитает пребывать в струях. Кушает и рыбу, надеемся, что рыба в Москве есть. Ну рыба-то есть, говорю, минтай, хек с головами и без них, мойва. Пока есть. Они обрадовались, приободрились. Если бы вы не просили сами, говорят, именно анаконду, мы бы ее ни за что не пришили. Но вы объяснили, что вы флотский и змей вам нужен водяной. Другое дело, что вы требовали восемнадцать метров, а где их взять? Экземпляры в семь метров уже большие, в девять – просто огромные. Исключительно из уважения к вашей личности мы отыскивали одиннадцатиметровую донорскую особь, а насчет восемнадцати вы нас чрезвычайно извините. Несмотря на братство народов и дружеский визит, мы оказались бессильны. Ну ладно, говорю, не расстраивайтесь, какого змея пришили, такого и буду содержать. Расчехляйте! Они приступили. Не без волнения. Стали разматывать Андреевский флаг. Торжественно, по протоколу. А анаконда-то почувствовала ослабление режима и зашевелилась. А когда нас с ней окончательно распеленали, она от радости зыграла. Сначала вроде как бы танцевала в воздухе надо мной, в кольца складывалась, а потом выпрямилась в полный рост. Но под углом, потому как мешал потолок. Ну, я вам скажу, змей!



– Бреешь ты! – поморщился Бордюков.

– Не мешай! – осадил его Дударев. – Ну и врет! А ты не мешай!

– Никогда не вру! – сказал Крейсер Грозный. – Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах. Игорь Константинович не даст соврать. И на пленку это все снято. Там уж вертелись и с телевидения, и от газет, и из рекордов Гиннеса. Они попросили, чтоб я не сразу усмирил змея, чтоб хоть полчаса дал ему побыть в полный рост. У них работа, я понимаю. Я их уважил. Но на полчаса. Через полчаса отбой. Велел змею укладываться. Несите, говорю, с крейсера мне брюки и исподнее. Вам, говорят, надо еще лежать и лучше это делать в пижаме. Это моряку-то в пижаме? Ну все равно, говорят, вам надо сшить особенный костюм с необыкновенными внутренними помещениями. Мне смешно. Какие такие костюмы могут быть лучше черноморских клешей! И нашего исподнего! Принесли. Говорю Анаконде: готовься к размещению. Встаю. Натягиваю клешы. Сопротивляется, гад, но чувствует мой характер и силу тамбовского сукна. Крякнул, но застегнул все, что надо. Ремнем и пряжкой закрепил власть над зверем. Ни на одних флотах нет таких клешей и пряжек, как у нас. И зверь, чувствую, присмирел. Пусть, думаю, недоволен, но привыкнет.

– Ну и где же он теперь? – спросил Свержов.

– Где надо, – сказал Крейсер Грозный.

– Погоди, – сказал Дударев. – А функции он исполнял?

– Исполнял, – кивнул Крейсер Грозный.

– По обмену веществ? Или какие?

– Всякие.

– И что же, были охотницы?

– Были?! – хмыкнул Крейсер Грозный. – Мне от них приходилось скрываться. Особенно как дали сюжеты с нами по телевизору. И в кино. В ихних «Новостях дня». Поначалу-то змей и сам хорохорился, гад оказался ненасытный. Он ведь и смазливый, чешуя блестит, гладкая, оливково-серая, по верху два ряда бурых пятен. А морда! Морда смышленная, ноздри раздутые. Одно слово – удав. Какие только дамы не набивались к нам в подруги!

– А ты предпочитал рабынь?

– Для черноморского моряка нет рабынь! Но такие, я вам скажу, находились охотницы и эгоистки, что ради удовольствия готовы были стать проглоченными и переваренными. Может, прежний змей их бы и переварил, но мой был уже флотский. Рыцарь. Никого не сожрал. А только лелеял. Но жрать был горазд. Волокли ему рыбу, птицу, кроликов, мелких копытных.

– И долго вы куrolесили?

– Четыре месяца, – сказал Крейсер Грозный. – Ровно четыре. По просьбам президентов, их жен и дочерей командование разрешило мне быть гостем Латинской Америки. Серега, сказал мне адмирал, постарайся. Ты, сказал он, можешь послужить делу укрепления не хуже, чем наши боевые визиты дружбы. Я – руку к бескозырке! Но потом змей устал. И залег в ил.

– В какой ил?

– Во влажный, – сказал Крейсер Грозный. – Эти гады, эти удавы, эти змеи водяные, эти Анаконды имеют обыкновение. Случись засуха, они тут же мордой, а потом и всем телом – во влажный ил. И в спячку. И дрыхнут так, пока не начнется сезон дождей. Ушлые. И мой туда же. Хотя никакой засухи и не было. Устал. Наскучило ему. Укатали сивку крутые горки. Раскланялся я с Латинской и Центральной Америкой и вернулся продолжать срочную службу в Севастополь.

– С Анакондой? – спросил Дударев.

– Со змеем, – успокоил Дударева Подмолотов. – Тем более что он съемный. Я для него завел чемодан. С дырками. С иллюминаторами. В Крыму он стал зябнуть. Кашлял. Но привык. И опять, гад, пустился в развлечения.

– В Москве ему и вовсе холодно. Небось сюда его и не взял?

– Взял, – сказал Крейсер Грозный. – Закончил службу и взял.

– И он не буянил?

– Сам просился.

– Хорошо, – сказал Дударев. – А если бы тебе пришили не его, а ее?

– Могли бы пришить и ее, – задумался Крейсер Грозный. – Там хорошие хирурги. Она бы давала в год до семидесяти детенышей. В яйцах. А то и больше.

– От тебя?

– Почему от меня? От себя.

– Так-так-так! Семьдесят детенышей! В яйцах! – Дударев воодушевился, достал из кармана блокнот. – Семьдесят яиц в год!

– Да что ты пишешь! – взревел Бордюков. – Кому ты веришь? Этому брехуну?

– Ну и пусть врет! – сказал Дударев. – Слушай и не мешай. И ты, Мельников, слушай. Здесь и для нашего будущего дела есть направление.

Тут Шеврикука чуть было не высказался. И он за все годы трудов в Землескребе не наблюдал каких-либо свидетельств проживания в здании, во дворе его и вообще в Останкино гигантского водяного удава. Но Шеврикука сейчас же сообразил, что лучше молчать.

– Где она? – орал Бордюков. – Предъяви!

– Я не обязан носить змея все время, – сказал Крейсер Грозный. – И нет нужды. У меня у самого восстановилось.

– Может, он ввинтился теперь башкой во влажный ил? – предположил Свержов.

– А хоть бы и в ил, – сказал Крейсер Грозный.

– Но засухи нет!

– Нет, – подтвердил Крейсер Грозный, и глаза его стали чрезвычайно хитрыми. – Засухи нет. Но у него свои резоны.

– Может, он в том, в детском пруду? – спросил Свержов. – Или в пруду, что у Башни?

– Может, и там, – сказал Крейсер Грозный. – Он свободный змей в свободном государстве. Где хочет, там и проживает. Мало ли у нас водоемов. Но я бы на его месте сидел бы сейчас в Ботаническом саду, в Главной Оранжерее. Там пальмы, там бананы, там в воде цветут лотосы и виктории. И всюду порхают амазонские мухоловки.

– Мельников, обрати внимание и на это признание! – сказал Дударев и опять что-то записал в блокноте.

Шеврикука был совсем тяжел, веки его склеивались, но при упоминании Оранжереи он встрепенулся, то ли в испуге, то ли в недоумении:

– Анаконда в Оранжерее?

Благоразумие, все еще не погасшее в нем, заставило его немедленно замолчать и не встречать в беседу ни с какими вопросами. Но и испуг, и недоумение не прошли. Бразильский змей недалеко от привидений? Но вдруг этому Подмолотову, этому Крейсеру Грозному, известно нечто о привидениях и их доме?

– Идиоты! Жертвы перестройки! – опять заорал Бордюков. – И правильно, что вас сократили и выгнали! Кому вы верите!

– В Департаменте Шмелей, – сказал Свержов, – ты сам много чему верил. И нас заставлял верить!

Крики и протесты Бордюкова были признаны приглашением снова промочить горло и продолжить действие, прерванное визитом дружбы в Эфиопию. Но Крейсер Грозный не мог успокоиться. «Ах, вы не верите! – заявлял он. – А из вас кто-нибудь пил с императором? Никто! А я пил! С императором! С Хайле Селассией! Это настоящий мужик! А этот, который его прогнал, ихний Мариман, Менгисту, дрянь! Я пил с императором!...» Потом Крейсер Грозный пытался поведать еще нечто. В частности, о том, что он родился в мешке с цементом и клинкером при Михайловском цементном заводе в Рязанской области. И о том, что уже в четыре

года он был кандидатом в мастера спорта по стрельбе из рогатки катышами клинкера, резина же шла на рогатки из противогазов... Но Крейсера Грозного теперь никто не слышал. Пили, галдели, Шеврикуке стало совсем худо, соображал он расплывчато и все же старался не пропустить ни слова про Оранжевую. Однако ни про анаконду, ни про Ботанический сад с прудами и Оранжевой более не вспоминали. Лишь звучало иногда: «А вы не пили с императором!» И Шеврикука, расслабившись вовсе, заснул.

А проснувшись, растерялся. Сидел он неподалеку от шашлычной под кустами бузины, вблизи нескольких пустых трехлитровых банок и граненых стаканов. Прежние собеседники Шеврикуки пропали, а справа от него полулежал теперь странный тип, дурно пахнувший. Впрочем, во рту Шеврикуки, внутри его всего было так противно, что обращать внимание на чужие дурные запахи или осуждать их было бы неразумно. Новый сосед Шеврикуки походил на карлика с Веласкесовых полотен, голову же его, здоровенную, подпирала шея будто бы растрюбом боярского воротника. «Ну что? – спросил карлик. – Пойдем?» «Куда?» – удивился Шеврикука. «Как куда? – подмигнул ему карлик. – Куда вы предлагали». «А куда я предлагал?» – спросил Шеврикука. «Ну знаете! – теперь уже удивился карлик. – Как же так, Шеврикука!»

И Шеврикуку осенило: карлик – из духов Башни. Или хотя бы от них.

Они встали и пошли. Когда дух поднялся, Шеврикука увидел, что тот и не карлик. Уродец точно, но не карлик. Руки и ноги его были от коротышки, но лобастой головой своей он доходил Шеврикуке до плеча. И, возможно, по иным, нежели у Шеврикуки, эстетическим представлениям он и не считался уродцем.

– Пэрст, – сказал дух. – Меня зовут Пэрст. Вы, может, запомнили.

– Запомнил, – согласился Шеврикука. – И куда предлагал идти, запомнил. Зачем – тем более.

– А я помню, – сказал Пэрст. Возможно, он был просто Перст, но гласную в своем имени возводил достоинством выше, с очевидной претензией, будто намекал на нечто важное, о чем вынужден пока молчать.

Но был он жалок и чем-то удручен, порой его била дрожь, не заметить этого Шеврикука не мог.

– Я во сне, что ли, с тобой разговаривал? – спросил Шеврикука.

– Нет, – сказал Пэрст. – Мы сидели. И пили. С нами и еще были. Но их раздражал исходящий от меня запах. Они затыкали носы. Они ушли. Тогда вы и признались, что вы Шеврикука. Но, может, вы и не Шеврикука?

И Пэрст остановился. Соображение, пришедшее ему в голову, похоже, его напугало.

– Нет. Я именно Шеврикука.

– А я – Пэрст, вы поняли! – обрадовался Пэрст. – Я вам рассказывал!

И последовал повтор, надо понимать, истории Пэрстовых злополучий. Там, на Башне, ему было приказано засесть в капсулу и замереть в ней. Хоть бы и на три столетия. На сколько – не его дело. Закладывали Оптический центр за гостиницей «Космос» и в обстановке пятифлажного митинга, естественно, с непременными взаимоуколами, замуровали в фундаменте капсулу с посланием к потомкам. Башня уже давно рассаживала в капсулы наиболее важных для города фундаментов своих агентов. Ну не агентов, а неизвестно кого. И неизвестно зачем. Возможно, конечно, с чрезвычайно секретной миссией, в которую мало кто был посвящен. А может, и на всякий случай. Вот и Пэрсту пришла пора засесть в капсулу. Радость грошовая, но приказали. А он кто? Он никто. К концу митинга он влез в капсулу. Капсула хорошая. Вроде футбольного кубка. Блестела. Из титанового сплава. Послание в пластиковой упаковке в ней уже лежало. Тут Пэрст услышал: главного оратора стали партийно подковыривать. Мол, что – послание. Можно было бы отправить потомкам и ценный подарок. Мол, когда закладывали цирковое училище на улице Расковой, клоун Карандаш бросил в капсулу тысячу рублей, земля ему пухом. Тот, кого подковыривали, рассмеялся. Что потомкам ваши

рублю! Мол, мы способны уже катать людей бесплатно в такси, а в будущее отослать платину и бриллианты. Полез в карман и опустил в капсулу подарки. Что-то звякнуло. Вышло эффектно. Аплодировали. Тут капсулу прикрыли мраморной плитой с золотыми словами «Потомкам – в третье тысячелетие!». И к Пэрсту пришел покой. Но ненадолго. Часа через три двое мастеров, опускавших плиту, ее и подняли. Что-то они слушали на митинге, но невнимательно. Они развинтили капсулу, искали платину, бриллианты или на крайний случай тысячу рублей и, не найдя их, обозлились. А нашли они четыре пробки от пивных бутылок. В бессильном раздражении они справили на безвинных Пэрста, послание и пивные пробки малую и большую нужду, полили их еще чем-то вонючим и опять придавили мрамором. Капсула была опошлена, и Пэрст посчитал, что имеет право покинуть ее. «Э-э! – подумал Шеврикука. – Теперь тебя и не Пэрстом будут называть, а Капсулой. Если не объявят дезертиром». И Шеврикука вспомнил, что обещал провести Пэрста на фабрику химчистки за Ботаническим садом и окружной дорогой.

Но вместо химчистки они оказались в пивной на улице Фонвизина, где запахи Пэрста-Капсулы выделить из других ароматов кому-либо было недоступно. Шеврикука чувствовал, что его может занести, что сейчас он станет врать, хвастать и важничать. «Подумаешь, анаконды и титановые капсулы с посланиями! Да я эти анаконды! – принялся выступать Шеврикука. И очень громко. – Да я эти анаконды сшибал с деревьев из рогаток! Катывшись клинкера! И я пил с императором! Хайле Селассией!» «Какие анаконды?» – не поняли Пэрст-Капсула и свежие фонвизинские собеседники. «А такие! – стукнул кружкой по столу Шеврикука. – Любых размеров и шкур! Резину на рогатки брал из аэростатов! Резал их на полосы садовыми ножницами! Или вот. Из Киева базарят с англичанами, будто те зажили бочку золота полковника Полуботка, из запорожской казны... Или вот эти чудики со станции Тайга ищут золотой запас Колчака! А я про такие клады знаю, что!.. Князей Черкасских, например. И ходить далеко не надо. В версте отсюда, в Останкинском парке...» Шеврикука даже и рукой указал, в каком направлении следует идти, чтобы обнаружить в парке клад князей Черкасских. Скептиков, впрочем, разевавших рты, Шеврикука попытался удивить рассказами о думном дьяке Шелкалове, владевшем Останкином после отмены опричнины, тот тоже много чего накопил и кое-где закопал. «Но не под кедрами, – тут же расстроил слушателей Шеврикука. – Не под кедрами. Кедры привез из Сибири уже именно один из князей Черкасских, не скажу какой, ни-ни, не скажу, а князя Черкасские пошли от кабардинского князя Темрюка, и золота имели – во!» Далее Шеврикука свернул к Мечу-Кладенцу, Чаше Грааля, а проявив себя драматическим тенором, пропел: «Отец мой Парсифаль, богом венчанный, я – Лоэнгрин...» Тут его опять сморило...

## 7

Шеврикука лежал в малахитовой вазе.

На полу, на ковре, в солнечных лучах грелась анаконда.

В дверь позвонили. «Экие глупые слова, – подумал Шеврикука. – Ведь не в дверь позвонили. В квартиру. В меня позвонили». За дверью просителем стоял Пэрст-Капсула. «Брысь!» – сказал Шеврикука анаконде, и она исчезла. А может, ее и не было.

Шеврикука открыл дверь и впустил Пэрста. Наверное, тот отмывал себя. И долго. Возможно, натирался благовониями. Но дурной запах совсем не истребил. Впрочем, Шеврикуке все было мерзко сейчас.

– Меня прислали к вам, – объявил Пэрст-Капсула.

Он снова дрожал. Был напуган. Не теми ли, кто прислал его?

– Ну и что? – грубо сказал Шеврикука.

– Меня прислали к вам... И просили вас прибыть для беседы...

– Прямо сейчас?

– Желательно вовремя.

– Еще чего! – И Шеврикука зевнул, давая понять, что лучше бы его оставили в покое, к чему он более теперь расположен.

– Я вас провожу...

– А ждать мне не придется? – спросил Шеврикука с вызовом. И сейчас же осадил себя: опять он хорохорится! Ведь был случай... Впрочем, перед Пэрстом можно было позволить себе и покуражиться!

Но в баню бы теперь! И веник в руки!

– Ладно, – сказал Шеврикука. – Сейчас и отправимся.

«Явилось бы мне мое Монрепо, – подумал Шеврикука, – где никто бы не мог нарушить мое уединение и покой...» Главное – Монрепо! Да, были и Монрепо, и Монплезиры, но у кого? К тому же он, Шеврикука, всегда с большим интересом относился к затее светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова устроить Монкураж. И сам кое-что придумал и осуществил. Но где, как и когда!..

«Однако теперь-то что было мечтать о венике и парной! О, Монрепо! Ловок, брат! Сейчас тебя возьмут, подхватят служители с целлулоидно-кукольными голосами, повлекут, со щипками, оплеухами, с ударами ног из канфу, со швырянием о бетонные стены, в поднебесье, а потом и в седьмые небеса Останкинской башни. Предоставят для беседы. Можно предположить, как и чем она закончится.

– И велели передать, – сказал Пэрст-Капсула, – что вы вольны принять приглашение на беседу, а вольны и не принимать его.

– Естественно, волен! – сказал Шеврикука. – Конечно, волен! Но принимаю. В здравом уме. И с превеликим удовольствием. Вот только повяжу бант на груди.

– Какой бант? – спросил Пэрст-Капсула.

– Из черного бархата.

Какой бант?! Из какого черного бархата? Он ошалел, что ли? Что он мелет? «Что мелю, то и мелю!» – сказал себе Шеврикука. Были у него бархатные ленты в укрытии, были желтая, фиолетовая и черная, и Шеврикука понял, что именно теперь бант он непременно повяжет, пусть его и выставят посмешищем, пусть унизят или даже удавят, стянув бархат на шее. Отправив посланника духов во двор, Шеврикука пробрался к тайнику и уважил свою блажь.

– Идем к Башне? – спросил Шеврикука во дворе.

– Идти куда не надо, – сказал Пэрст-Капсула. – Вы просто закройте глаза. И все. А я ни вам, ни им больше не нужен.

Шеврикука закрыл глаза.

– Поднимите веки, – услышал он. – И присаживайтесь.

Шеврикука стоял возле кресла. В мягкую глубину его он и погрузился. Пребывал он в некоем помещении-ящике, по размерам схожем с вагончиком строителей. Напротив него, в кресле же, сидел крупный мужчина или, скажем, существо, принявшее облик крупного мужчины. И вылитый Бордюков. Нет, разглядел Шеврикука, не Бордюков. Пожалуй, весомее Бордюкова. И более ястреб. Но из породы Бордюковых. Никого и ничего более вокруг себя Шеврикука не наблюдал. Чистейшие бледно-фиолетовые стены вагончика были прорезаны четырьмя квадратными окнами, виды в них все время менялись, и вскоре Шеврикука сообразил, что их вагончик летает вблизи Башни, над Останкином и парком, причем шальным образом, кувыркается, крутится, ныряет вниз и возвращается в выси, покачиваясь, выделяет и иные кренделя городского пилотажа, возможно, бочки и иммельманы, не причиняя при этом Шеврикуке никаких неудобств и неудобств.

– Вас не трясет? И не болтает? – осведомился тем не менее хозяин летающего помещения. Или не хозяин.

– Нет, – сказал Шеврикука. – Не трясет. И не болтает.

– Ну и хорошо, – кивнул собеседник. – Но можно закрыть окна шторами, чтобы нас не отвлекало движение. А?

– Меня оно не отвлекает, – сказал Шеврикука.

– Вы в напряжении. Будто я намерен вас потрошить или подвешивать на крюк. А зря. Наше общение ни к чему не должно обязывать. Ни меня, ни вас. Из него может выйти толк, а может и не выйти. И мы разлетимся. Да, я не Бордюков. И не его брат. И не параллельная структура. В своих сущностных буднях выгляжу иначе. Или никак не выгляжу. Но ради контакта, ради соответствия вашим привычкам меня обрядили в подобие Бордюкова. Имея при этом в виду, что ваши мысли могут или даже должны получить некое направление. Я с этим мнением спорил, но уж ладно...

– Какое направление мыслей? – спросил Шеврикука. – Я у вас сегодня в общем отделе? В кадрах, что ли?

– Вот-вот, я этого и опасался, – сказал собеседник. – Вашим мыслям дали коридор, и суть нашего общения чрезвычайно сужается. Вдобавок происходит несомненное приспособление и вас, и нас к людским стереотипам. А ведь мы и вы – не люди.

– Да, мы – не люди, – сказал Шеврикука, но сказал так, будто давал понять, что домовые точно не люди, а вот что за компания приманила его в выделяющий воздушные кренделя вагончик, с уверенностью судить он бы не стал.

– И мы не люди, – услышал Шеврикука. – И не пришельцы. Мы именно отродья, какие завелись на Башне. По вашей останкинской терминологии. Отродья! Башенная шваль! В лучшем случае – духи-самозванцы! – И новый знакомец Шеврикуки рассмеялся. Однако сразу же сказал строго: – Но вы нас боитесь. И не напрасно. При этом вы нас не понимаете, а скорее всего, и не способны понять. Из-за вашего консервативного высокомерия. К тому же уровень... как бы помягче сказать... ваших представлений и знаний таков, что вы и не можете... Извините, вы гадаете, как меня называть. Естественно, не Риббентропом. Извините за прошлые тычки и щипки, но вы сами, как мне сообщили, дали повод для них. Имя – или название, или прозвище – вы мне можете придумать сейчас сами. Подлинное я не имею возможности произнести. Вы его и не запомните.

– Бордюор, – сказал Шеврикука. – Вы не Бордюков, но Бордюор.

– Странно. Странно как-то... Бордюор тонок и длинен, а я вон какой обширный и свирепый. И Бордюор, он вроде бы внизу и что-то ограничивает? Или ограждает? Ну ладно... И примите к сведению. Я личность в вашей истории случайная. Попался под руку. Просто я из тех, кто может надевать человеческую личину. Пусть это и противно моей натуре. Многие же пока

не могут. Иные и вовсе не имеют форм и иметь их не должны. А они-то как раз специалисты. Но, может быть, вы опять потребуете иного собеседника?

– Нет, – сказал Шеврикука. – Да и мне ли требовать?

– Хорошо, – сказал Бордюр. – Мы сошлись с вами в том, что мы и вы, к счастью или не к счастью, – не люди. Для людей мы за пределами их жизни. Вас они и просто называют нежитями.

– Нежити – это тубинги в туннелях метрополитена, – резко сказал Шеврикука. – Но и тубинги бетонными ребрами ощущают проходящие мимо них поезда.

– Согласен, Шеврикука, согласен! – Бордюр в воодушевлении рукой по руке хлопнул. – Но люди, для которых вы все же есть, все равно считают вас чем-то восемнадцатистепенным.

Тут Бордюр умолк, похоже, посчитал необходимым успокоиться.

– А отчего вы, – спросил он, – решили повязать именно черный бант? Вы могли повязать желтый. Или фиолетовый. А повязали черный. Почему?

– Не знаю, – сказал Шеврикука. – По дурости.

– И ведь люди, – Бордюр вскинул сцепленные пальцами руки над головой, а потом обрушил их вниз и пальцы выпрямил, возможно указуя на презренную останкинскую землю, – не стоят того, чтобы мы были у них в восемнадцатистепенных! Даже – в третьестепенных! Не стоят! Быть у жалких, озлобленных существ в услужении мы не намерены! Нет!.. Черный бархатный бант вы, значит, повязали по дурости?

Шеврикука угрюмо кивнул.

– Дурость нынче свойство редкое, – заметил Бордюр. – Все вокруг исключительно умные. А выходит, впрочем, всякая дрянь... И небось по дурости вы познакомились с нашей неряшливой мелочью. С Пэрстом этим. А? По дурости? – Бордюр хохотнул, в смехе его было одобрение – мол, так и надо, старик, все путем! – и даже как бы обещание покровительства: со мной, мол, купишь и сырокопченный окорок, и электрический утюг. – Но я бы посоветовал не иметь более с этим недотепой-полуфабрикатом дел. Дел с ним, видимо, и не случится. Он будет исторгнут или разъят за ненадобность. У него нарушение схемы. Имя его забудьте. Его спишут. Разымут или рассеют. И он не станет ни призраком, ни привидением.

Шеврикука взглянул в глаза Бордюру. В них была стужа.

– Да, у нас нет привидений, – сказал Бордюр, в интонации его Шеврикука ощутил сожаление. Или даже печаль. – У нас нет прошлого. У нас нет родословных. А какие могут быть привидения без прошлого. Иные видят в этом благо. Мол, от нас все пишется даже и не заново, а впервые. И набело. С нас начинается все. В-с-е! Прочее следует отмести и забыть. У нас нет прошлого и нет поводов для ностальгии. Для нытья. Нет груза чужих, но врученных наследием поражений, ошибок, пороков, нет слабых токов, нет связей, способных вызвать опасные и даже болезненные состояния логических систем. Все так. Все так. А вот я хотел бы, чтобы у нас были прошлое, родословные и привидения. Такой каприз. Однако накопления возникают с ходом времени. Скажите, отважный Шеврикука, у вас есть накопления?

– У меня нет накоплений, – сказал Шеврикука. – И я не давал повода называть меня отважным.

– Не давали? Тогда примите мои извинения. И у меня нет накоплений. А жаль. Вот у князей Черкасских, вы говорили, были накопления. И они схоронены где-то здесь, под нами. Под деревьями в Шереметевской дубраве. Или черниговский полковник Полуботок. В лондонских подвалах, вы полагаете, его бочка? Бессовестные британцы! А золотой запас сибирского адмирала. Где, где он? Но оставим князей Черкасских, сечевику Полуботка, несчастного адмирала. Что нам они? Так вот. Вы не накопили. Я не накопил. Мы и не копили. Но ваше, как у вас любят подчеркивать, сословие. Оно ведь существует не год, и не век, и не тысячелетие. Конечно, иные за века ничего не приобретают и не накапливают, а лишь транжируют. Пускают по ветру собранное другими, а им завещанное. Приданое-то – тем паче. Но ваше-то сословие

не таково. Вы же существа хозяйственные. В картишки – ни-ни! Все – в дом, все – в избу. Иначе какие же вы домовые? Уж у вас-то точно есть накопления. На черный день! Сокровища, полагаю, поинтереснее клада князей Черкасских. А?

– Не знаю, – сказал Шеврикука. – Не уверен. Не слышал. Не удостоен знанием. Ни грош, ни сухарь из этого клада или склада мне не обещаны.

– В том вековом или бесконечном накоплении, о котором я веду речь, нет ни копеек, ни золотых монет, ни тем более сухарей. Там есть нечто, чему ни вы, ни люди, ни даже мы не способны дать истинное название. Сила Кощеева царства умещалась в игле. Даже в иголке, коли принять во внимание утиное яйцо. Да-с. У кого Игла. У кого Чаша Грааля. У кого Меч-Кладенец. А у вас что же могло быть такое замечательное?

– Половник для щей, – сказал Шеврикука. – Или большая ложка. Деревянная. Ею неразумного дитятю отец мог за столом назидать по лбу. Со звуком.

– Ну, Шеврикука... – поморщился Бордюр. – Эко вы... Здесь должно быть нечто торжественное, ритуальное, ценимое родом. То бишь сословием... Но давайте продолжим наш ряд... Приходит на ум опять же чаша... Или ендова какая-нибудь особенная... Или братина... Или даже самовар... Да... Мечей-то, конечно, у домовых не водилось. Но ведь чем-то вы, случалось, оборонялись?

– Случалось, – подтвердил Шеврикука. – Кочергой. Или скалкой. Или даже стиральной доской. Случалось, ходили и в бои. С печными ухватами. С головнями незатушенными. А то и с вилами.

– Ну да... Ну да... – вздохнул Бордюр. – Конечно...

В глазах его проявились усталость и досада, нестерпимое желание прекратить пустой разговор.

– А то и швырялись горшками. Чугунными, – вспомнил Шеврикука.

– Конечно, конечно, и горшками, – закивал Бордюр. Он опять вздохнул. – Да, эпос о домовых создать было бы чрезвычайно трудно. Ни гексаметром, ни тонически-аллитерационным стихом, ни силлабо-тоническим. Если только раешником. Но вы и в раешники, как помнится, не попадали. Так, в устные побасенки... Н-да... И тем не менее... И тем не менее. Наши возможности – зовите нас отродьями, духами Башни, обдухами или духообами, нам не обидно, – во сто крат, да в какие там сто! – богаче возможностей ваших. И тем не менее... Вы – подвалы человека. Ну и запечье. Запечье и подполье. Вас вызывали его страхи, его заблуждения, его наивности и детские упования. А мы – подпотолочье человека. Или даже – надпотолочье. Мы над ним. Мы созданы его дерзостью, его наглостью, его куражом, его шальными забавами, его голодно-высокомерным порывом обломать рога природе. И мы уже над ним. Мы отбились от его рук. И не намерены ему служить. И тем не менее. У нас нет того, доли чего есть у вас.

– Есть прямо здесь, в Останкине? – спросил Шеврикука.

– Да. Может, именно и в Останкине.

– Сомневаюсь, – покачал головой Шеврикука.

– Я, похоже, утомил вас, – сказал Бордюр. – А вы небось собирались в Дом Привидений?

– Нет, – сказал Шеврикука, – сегодня не собирался.

– А как же бант?

– Бант – ради вас.

– Ну-ну... А Темный Угол? Он не поругивает вас за приключения, за походы к привидениям, за всякие шалости? Не грозит вам карами?

– Их ругань и кары меня не заботят, – сказал Шеврикука.

– Ой ли? Они так беспомощны? У них нет силы?

– У них есть сила. Но меня она не связывает.



– Может быть, пока? Они существа сердитые. Блюстителю. Сами вызвались оберегать чистоту преданий и следований им. Им, кстати, Кощей мог бы доверить и оборону яйца с иглой? А? Не так?

– Не знаю. Это меня не волнует, – сказал Шеврикука. – И сведений о них, коли они вам нужны, я добыть бы не смог. У меня иные свойства.

– Не дуйтесь, Шеврикука, не дуйтесь! – заулыбался Бордюру. – Сейчас мы с вами закончим. И разойдемся кто куда. Но прежде я обязан передать вам слова тех, кто и попросил иметь с вами беседу. Намерения ваши, известные в их внешних проявлениях, приняты к сведению. И решено: не перечеркнуть и не размыть. Вас. Пока. И не сказано вам: изыди и отведи от нас взор. А сказано: ступай и живи, как прежде. И жди. Вдруг что и случится. И призовут. Или посоветуют. А там поглядят.

– Назначат приглядный срок? – спросил Шеврикука.

– Это не ко мне, – сказал Бордюру. – Скажу лишь: вы рискуете и чрезвычайно. Надеюсь, понимаете... Да, к вам приглядятся. И вы приглядитесь. Хотя вам будет труднее. Вы не на равных. Еще и потому, что вы линейны. А мы нелинейны.

– Не в Останкине судить, – сказал Шеврикука, – кто линеен, а кто нелинеен. И что проку, что кто-то линеен, а кто-то нелинеен. И потом – все это слова и обозначения. А близки ли они к истине? Вряд ли.

– Вот как? – Бордюру, показалось Шеврикуке, впервые всерьез посмотрел ему в глаза. И долго смотрел. Будто изучал глазное дно.

– Я не собирался более жить среди домовых в Останкине, – сказал Шеврикука. – Причина менее всего в том, что я обидчивый и не люблю оскорбления. Мне надоело. Я понимаю, что для вас я трава сорная, к тому же и перебежчик или способный переметнуться. Я никогда не буду с вами на равных, но я готов к своему положению. Вам же авось на что-нибудь сгожусь. Но если я не нужен, объявите. Я иначе буду жить.

– Вы нетерпеливый, – заговорил Бордюру. – Вы нетерпеливый! Это нам известно. А у нас не сразу дают подписывать бумаги, за нарушение правил которых полагается взыскивать кровью.

– Я, может быть, и не намерен подписывать какие-либо ваши бумаги, – сказал Шеврикука. – Вы подумайте о своей пользе.

– Вы самонадеянный. Если не наглый. Или неумный, – сказал Бордюру. – «Бумаги», «кровь», «подписывать» – это все из условностей. По нашим положениям, для нас разумным, а для вас, возможно, ледяным и безжалостным, вы уже без всяких подписей и бумаг вступили в поле внимания Танталова луча. Одно мгновение – и... То есть и одного мгновения не надо.

– Хорошо, – сказал Шеврикука. – Я буду жить в Землескребе. И буду ждать.

– Ждите. И еще я уполномочен произнести некоторые слова. Кандидат наук Мельников проживает в ваших подъездах? Человек он примечательный. И лаборатория у него примечательная. В квартире его вы могли бы бывать почаще. Может, и повстречались бы раньше с дамой Совокупеевой. А? Не так? – И тут Бордюру подмигнул Шеврикуке снова с одобрением: мол, и я такой же ухарь-купец, и я не прочь, коли подвернется случай. – И некий Радлугин ваш жилец? Вот и еще один объект, достойный вашего обозрения. И инженер Подмолотов, он же Крейсер Грозный, ваш. Видите, какой многоцветный букет для вас нарвали. Или какую преподнесли вам корзину с фруктами. Да. Именно. С фруктами. Ведь и чиновник Фруктов жил у вас. Добавьте в ту же корзину еще и Дударева, сорежователя Свержова и их коллегу Бордюкова, хотя эти трое и проживают в чужих подъездах. Н-да. А коли Крейсер Грозный ваш, то, стало быть, и Анаконда ваша. А что это у вас, сударь Шеврикука, бант вдруг развязался? – В голосе Бордюра было не только изумление, но и сочувствие Шеврикуке.

– Как?.. То есть?.. – растерялся Шеврикука. – Действительно...

– Взял вдруг и развязался. – Теперь Бордюру, похоже, радовался. – От волнения, что ли? Или по другой причине?

– Извините, я сейчас завяжу...

– Не надо! Не надо! Ни в коем случае! – вскричал Бордюру будто в испуге. – И так замечательно! Завяжете не здесь, а дома! Дома! Домой и отправляйтесь!

– Но ведь мы высоко... – сказал Шеврикука.

– Да, высоко! Да, кувыркаемся! – все еще кричал Бордюру. – Что из этого? Вы сейчас закроете глаза и отправитесь.

– Покедова, – сказал Шеврикука.

– Погодите! Постойте! Покедова оставьте при себе. Мы с вами более не столкнемся.

– Не уверен.

– Не перебивайте меня! Знак отсюда или сигнал получите способом особенным. Этот вонючий полуфабрикат к вам более не явится. Живите внимательно и помните, что здесь влажных чувств не держат. Теперь закрывайте глаза! Но не спеша!

Спешил бы или не спешил Шеврикука, но много ли надо времени, чтобы опустить веки? Крохи его. И вот в эти крохи Шеврикука все же смог углядеть, что с собеседником его случилось приключение. Он и секундами раньше, показалось Шеврикуке, будто стал терять в весе и в ширине плеч, да и лицо его принялось утончаться. А в миг прощания (коли «покедова» было отклонено с укоризной) существо, беседовавшее с Шеврикукой, превратилось в нечто узкое и протяженное, то ли в полосу серую с чередой бегущих темно-синих треугольников (начальственно-серым был костюм Бордюра, а синим – галстук), то ли в плотно-жесткий опояс, должный все ограничивать, держать в сбережении, чтобы не расползлось, не потеряло линию, форму или даже красоту. И тут ресницы Шеврикуки сомкнулись.

## 8

Расклеить их удалось не сразу. Не дождавшись приглашения «Открывайте!», Шеврикука сам дал команду глазам. А их будто заклеили пластырем. И точно, пластырь на глазах был. Шеврикуке с болью и ворчанием пришлось его оттирать.

Стоял он в квартире пенсионеров Уткиных, в Землескребе. Черная бархатная лента, переставшая быть бантом, свисала с плеча. Шеврикука выругался, стянул, сорвал с себя бархат, чуть ли не с брезгливостью, будто на него залез змей, объявившийся уже в Останкине, швырнул его на диван.

И сам сел на диван.

«Надо успокоиться, а что же за тварь ты такая, эко трясешься, – отчитывал себя Шеврикука. – Ведь живой! Ведь живым оставлен! Живым!»

И успокоился.

«Значит, они мне, – думал далее Шеврикука, – решили установить направление мыслей и действий... Ну что ж, может, оно и к лучшему... Конечно, направление это выгодно им, оно – для их целей, догадок, шарад и корысти. Но ведь и у меня не выжжено соображение. Не выжжено совсем-то... Они и это имели в виду, и понятно, в их сетях – ячейки на всякие случаи. И тут, впрочем, новостей нет. А коли не раздавят, опять будем живы. Глядишь, и отворят калитку. Ну а дальше? Нужна ли тебе отворенная калитка? Ведь снова бежишь к ней именно по дурости, именно по безрассудству!»

Всем изгибам нынешнего собеседования Шеврикука мог найти толкование. И выбор вагончика с кувырканиями и полетами его не удивил. Хотя, возможно, никаких полетов и кувырканий вовсе не было, кого-кого, а специалистов по изобразительному ряду и эффектам на Башне хватало! Ну и их это дело! А вот отчего так взволновал духобашенного Бордюра черный бархатный бант, Шеврикука истолковать не мог.

А бант Бордюра не то чтобы взволновал. Похоже, расстроил. Или даже напугал. Говорить-то Бордюр говорил, и все, видно, по делу, ничего не упускал, но бант его явно смущал. Либо раздражал. Бордюр будто силу какую-то желал применить к банту, Шеврикука это порой чувствовал. А когда усилие было приложено, бант развязался, Бордюр чуть ли не возликовал. Но и утомился. Крики его нервные в конце разговора, скорее всего, были вызваны расходом сил, вряд ли предвиденным.

Впрочем, возможно, Шеврикука все это вообразил. Ну язвил Бордюр про бант, ну развязалась лента, возможно, оттого, что он, Шеврикука, вертел в волнении шеей. Но зачем он надел этот идиотский бант? И еще именно черный, а не фиолетовый или желтый? С перепоя? Или в самом деле по дурости? Или по некой невысказанной подсказке? Бесспорных объяснений дать себе Шеврикука так и не смог. Как не смог и даже выстроить варианты предположений, отчего обеспокоился Бордюр. Про себя же, поразмыслив, постановил: да, с перепоя и по дурости.

Глаза у Бордюра были синие, вспомнилось Шеврикуке. Ну и что? К непременно серому костюму московского чиновника, или дельца, или трибуна средней ценности синие глаза весьма подходили. И галстук ему повязали темно-синий. Знали, какой образ лепили и зачем. Нет, осадил себя Шеврикука, не то, не то. Тут иное... А! Вот что! У того-то, к кому приволокли Шеврикуку пушистые щекотихи с целлулоидно-кукольными голосами, у того-то однажды за пластинами гармони проступила синева глаз! Опять же ерунда! Мало ли что и с какой целью предъявляют или приоткрывают ему, Шеврикуке! Да пусть тот собеседник и Бордюр – одно лицо, или одно существо, или одна субстанция («А что это – субстанция?» – задумался Шеврикука), или одна идея. Пусть! Какое это имеет значение!? И пусть недотепа курьер (или не курьер) Пэрст-Капсула – тоже Бордюр! Какое это имеет значение!

«Никакого, – вздохнул Шеврикука. – Почти никакого... – Потом подумал: – И сидят они теперь над детекторами лжи, разбираются в крючках...» Сразу же поехидничал над самим собой: «Голова садовая! Детекторы лжи для них – четырнадцатый век!»

Кстати, он им почти и не лгал.

А бархатную ленту следовало сейчас же растоптать, сжечь, разжевать и выплюнуть! Ну не сжечь и не растоптать, а удалить с глаз долой. И навсегда. Что Шеврикука безотлагательно и сделал. Упрятал кусок бархата в укромное место, откуда брал. Не в его привычках было выбрасывать тряпки, пусть ему и противные.

Однако мы, видно, и впрямь летали и кувыркались, вынужден был признать Шеврикука, голову-то вон как крутит, этак вывернет. Сказывалось, понятно, и вчерашнее нарушение режима, но и условия беседы с Бордюром пока напоминали о себе. Шеврикука отправился во двор, сел на скамейку, думать более ни о чем не желая.

А на дворе была ночь, черно-синяя, душная, тихая. Никто в домах не голосил, не выпускал в пространство с цепей звуковых дорожек горластых мужиков и дев, не звякал в кустарниках насаждений стеклянной посудой, не щипал барышень, не материл президентов. Это была ночь одиночества. И Шеврикука опять ощутил, что он в мире один.

– Шеврикука... – донеслось из-за мусорного ящика.

Шеврикука повернул голову вправо, но ни звука не издал.

– Шеврикука... – Голос (почти шепот) был робкий, будто отстеганный кнутом, но слова произносились внятно. – Шеврикука, позвольте к вам приблизиться... Я подползу... На мгновение...

Шеврикука молчал. Запрета не последовало. И нечто подползло.

– Это я... Пэрст...

«Брысь! Пшел отсюда!» – следовало бы цыкнуть. Но Шеврикука не цыкнул.

– Вы были сегодня у квинта и вернулись... – зашептал Пэрст-Капсула. – Я не думал, что вы вернетесь. А вы вернулись... А я... А со мной...

– У кого я был? – не выдержал Шеврикука. И тем самым вступил в разговор, участвовать в котором не должен был себе позволить.

– У квинта... У одного из квинтов... У одного из квинтэссенсов...

– Встань. Раз уж... Что ты валяешься-то. Садись.

Пэрст-Капсула привстал и бочком уселся неподалеку. Шеврикука не хотел, но зажал ноздри и чуть было не отъехал к краю скамейки. Однако пахло от Капсулы редким и драгоценным нынче, как белужий бок, куаферским одеколоном «Полет».

– Да, – подтвердил Пэрст-Капсула. – Отскребся. В химических чистках и татарских парных. Теперь не стыдно... Перед концом. Словно в белой рубахе...

– Ну! Ну! Мужик! Брось! – стараясь быть грубоватым, решил подбодрить Капсулу Шеврикука. – Не раскисай. Никому не дано знать... А что отскребся, похвально. И вот одеколон добыл.

– Хотите, и вам открою, как добыть.

– Нет, нет! – заторопился Шеврикука. – Я не к тому.

– А знать мне дано, – с печалью сказал Пэрст-Капсула. – Дано. Последняя ночь. А я не хочу. На мне нет вины. И мне горько.

– Я не судья, – глухо произнес Шеврикука.

– Да. Это так. Но вы вернулись. И вы останетесь.

– Надолго ли?

– Пусть и ненадолго. Поэтому я здесь. Это не должно пропасть. И я принес вам...

– Чего еще? – насторожился Шеврикука.

Пэрст-Капсула протянул к нему руку, разжал пальцы. На ладони его что-то лежало. Одно, рассмотрел Шеврикука, – круглое, другое – продолговатое, чуть закрученное по краям.

– Я не возьму, – сказал Шеврикука.

Теперь он впрямь отодвинулся от духа.

– Но ведь пропадет...

– Мне велели это передать? – спросил Шеврикука.

– Нет. Никто не велел. Это я. Это мое.

– Не возьму! – сказал Шеврикука нервно. – Ни за что! Мне не надо!

– Но ведь пропадет! – взмолился Пэрст-Капсула. – Или учуют, захватят и наделают плохих дел. И не расхлебашь!

Шеврикука и во тьме, в черной черноте черной комнаты все мог увидеть, теперь же он хотел узнать, синие ли у Капсулы глаза, но тот наклонил голову, в прощальный раз рассматривая свои ценности. Как будто бы не синие, как будто бы темнее... Но что из того! Что из того!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.